


РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
НОВИНКИ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

R $\frac{179}{1072}$

В. СТАВСКИЙ

С 76

С Т А Н И Ц А

КУБАНСКИЕ ОЧЕРКИ

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
МОСКВА ЛЕНИНГРАД
1 9 2 9

Государственная
ордена Ленина
БИБЛИОТЕКА СССР
им. В. И. ЛЕНИНА

102557
48



2024472449

Мосгублит № 38726.

Заказ № 624.

Тираж 7.000.

«Интернациональная» 39-я тип. «Мосполиграф», Б. Путиковский, 3.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Вместо предисловия	7

СТРАДА

Вальяновская	13
Нажимаем	21
Страда	28
Враг	45
Кто кого?	56
Директивы	67
Совещание	80

ПЕРЕЛОМ

В кубики и участки	93
Люди	103
Земля	114
Хлеб	129
Культурная сила	135
Новь	144
Конец	167
Накануне перевыборов	173

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Очерки «Станица» написаны мною после длительной работы по хлебозаготовкам на Кубани.

С января и почти по конец весенней хлебозаготовительной кампании 1928 г. мне привелось побывать в добрых трех десятках станиц Дона, Терека и Кубани: зимой в качестве специального корреспондента краевой газеты «Молот», а весной — на Кубани, в качестве непосредственного участника хлебозаготовок.

Материала скопилось такое количество, что обработать его весь мне показалось просто не под силу, и я взял для очерков материал лишь одной кубанской станицы, рассказав в этих очерках без тени художественного вымысла о том, что видел, с чем соприкасался, в чем принимал участие сам. Поэтому с самого начала оговариваюсь, что в своих очерках я отнюдь не делаю широкого обобщения для всего кубанского округа или края. Описанная мною станица не является в целом типичной даже для своего района,—

об этом красноречиво говорит хотя бы тот факт, что при огромном сокращении площади посева озимых в этой станице, по всему району задание весеннего клина выполнено почти полностью.

Но и являясь своего рода исключением в целом, станица в отдельных вопросах дает материал, характерный для округа и даже для всего края.

В период жестокой классовой борьбы, борьбы буквально за каждый пуд хлеба, известная часть середнячества и даже бедноты держала в некоторых станицах часто вроде «нейтралитета». Среди них было значительное количество бывших красных партизан и красноармейцев. Отношение их к советской власти совершенно определенно выразил председатель колхоза «Коллективист» Алексей Миронец:

— В случае чего мы целую дивизию за советскую власть выставим.

Пассивность середняков и бедняков во время хлебозаготовок в ряде мест — это в известной мере результат и бешеной активности кулаков, и слабости работы наших организаций, и недостатков, промахов в этой работе, которые в это трудное время вырастают в фактор, играющий наруку злейшему нашему врагу.

И тут встает со всей резкостью вопрос о нашем руководстве в станице, о наших станичных работниках. Ответ на него — в очерках, в которых я стараюсь рассказать и о «перегибщиках», у которых сильна отрыжка, пускай даже неосознанного, троц-

кизма, которые считают перегибы и чрезвычайные меры единственно правильной линией в деревне, и склонны превратить их в длительный курс, — и о «недогибщиках», отражающих кулацкое влияние, фактически становящихся на сторону кулака, в ряды наших врагов, особенно опасных в данное время, когда вопрос «кто кого» в станице стоит чрезвычайно остро.

Автор

С Т Р А Д А

ВАЛЬЯНОВСКАЯ

Вальяновские земли упираются в Кубань. За рекой Адыгее-Черкесская автономия.

По широкой низине петляет Кубань, то подбегая к десятисаженному бурому обрыву правого берега и выкручивая сизые омота, то отходя далеко от кручи. Тогда под обрывом — низкие полуострова — плавни, на которых рассыпаны белые бусы гусиных косяков.

За Кубанью кудрявые зачесы изняка, на далеком пригорке темно-зеленый кордон тополей — бывшее имение какого-то черкесского князя, правее — выглядывают из садов хатки аула Адамий. А там, под самым небом, — манящая синь кавказских хребтин, в могучем разбеге опадающих на степи, — смотреть бы на них, не отрывая глаз, часами...

Если глядеть из-за Кубани — хищной птицей села на кручи станица, нахмурила зеленые заросли бровей. Вдоль тугой луки правого берега на добрый десяток верст раздалась станица Вальяновская — ни

с какой деревней, ни с каким селом не сравнимая кубанская станица.

Две тысячи двести дворов, одиннадцать тысяч жителей (шестьдесят процентов казаков). В средней полосе республики в городах уездных столько народу не живет!

В центре станицы — небольшая площадь, огороженная и разбитая под сад. Посреди — в купе тополей и акаций — небольшая деревянная церковь. Кресты ее, рассекая мусульманский полумесяц (символ победы православия над Востоком), нахально торчат над зеленью. На углу площади приземистый длинный дом — раньше станичное правление, теперь станичный совет, всегда шумный и людный. На другом углу — двухэтажный дом вальяновского ЕПО.

От площади — далеко видно в пролеты улиц, — таких широких, что по ним пройдет развернутым строем конный взвод. Усадьбы — в одну струну, а по струне, образуя ровный забор, стоят, шелестя густой листвой, акации.

За станицей — вниз по Кубани — целый ряд кирпичных заводов, а в другую сторону — к станции, что в двух верстах, две мельницы-вальцовки — кооперативные, огромное каменное здание профтехнической школы, только что построенный кирпичный корпус больницы. Солнце садится правее станции, звеня литыми своими краями, пылающими огнями отдаваясь в стенах школы и больницы. Стекла — два длинных ряда — как будто стали две парадные ка-

зачьи шеренги, и на казацких чекменях горят начищенные гозыри, сверкает серебряная оправа оружия.

В центре станицы часты каменные, под железной крышей цома, кирпичные службы. Самое кулачье живет здесь. Кулаков в станице — свыше двухсот дворов.

Да каких кулаков! У кубанского кулака не редкость паровая молотилка. В Вальяновской таких молотилок — сорок! У некоторых кулаков — маслобойные заводики, дертянки, мельнички.

И рядом с кулаками-помещиками, у которых посева по пятьдесят десятин, — станичная беднота, голя. не знающая, что будет есть завтра. Бедняцкие усадьбы — курицу некуда выпустить, хатенки маленькие, низкие усадьбы. Бедноты в станице около пятисот дворов.

В центре станицы, в старом ее ядре — бедняцких хозяйств почти нет. Поселились вокруг ядра более молодые усадьбы, чем дальше от центра, тем теснее и беднее.

Большинство станицы — до тысячи пятисот дворов — середняки. Не тамбовские или воронежские середняки, — у кубанского пара-другая лошадей, коровы две, а то и три, десятин семь-восемь посева, бахча, огород, сад. Хлеба своего не только до нови — до третьей нови хватало.

Станица встает передо мной все новыми и новыми — невиданными и незнаемыми сторонами. Не удалось

собрать на неделе бедноту для беседы. На вторичный вызов повестками, в субботу вечером, пришло около сотни бедняков и станичных служащих, 'вызывали же мы около тысячи человек.

А в станичной деревянной церкви на весняного Николу — когда-то был царский день — собралось больше двух тысяч взрослого населения.

Весняный Никола празднуется станицей торжественно и пышно. В промежутке между ранней и поздней обедней в церковной ограде верующие обедали — по старинному казацкому обычаю. Котлы были принесены еще с вечера, а варка началась с рассвета — под густой зеленью акаций и раин. В прошлые годы для такого казацкого обеда резали целого быка, купленного на станичные деньги.

Под звон высыпала из церкви толпа — разряженная, цветная. Бывший станичный атаман Петро Христусь проплыл мимо стансовета в ярчайшем малиновом чекмене добротного сукна и в серой каракулевой шапке.

День был яркий и знойный, над станицей низко налегла мягкая и густая синева. Словно на-зло сверкали из-за листвы церковные кресты.

На широком деревянном крыльце стансовета расселись на скамье с десятков хлебобобов, один — стоит у двери с винтовкой. Это тыждневые — недельные дежурные. Старинный — еще от атаманов — обычай: надо — не надо, а торчат в совете двадцать восемь этих тыждневых. Обслуживают они четыре поста,

разнесут кое-когда повестки, сбегают за кем-нибудь, понадобившимся в совете, а больше валяются на голых нарах в дежурке или протирают скамьи на крыльце, дурея от скуки и безделья. И никто не протестует против этого ненужного и убыточного обыкновения, оставшегося от тревожных времен.

Станице уже за сто тридцать лет. После разгона Екатериной II Запорожской Сечи на Кубань вышли сорок казацких куреней, заняв по указу царицы Фанагорийскую землю, лежащую на правом кубанском берегу — от моря до Устьлабинского редута и к северу до Ейского города.

Тридцать два куреня разместились поодаль от Кубани, а восемь — вдоль самого берега, на грани с черкесскими землями; Вальяновская — стала крайней на восток в этом ряду.

Было тогда в станице от силы шестьсот душ (всего-то вышло на Кубань тысяч двадцать пять), да и из этих многие сложили свои головушки в непрерывных стычках с черкесами или пропали в горах, в неизвестном черкесском плену. На чужой земле нахрапом осели казаки, огрызаясь и отстреливаясь от попыток хозяев-черкес прогнать их с Кубани. Не один десяток лет провела Вальяновская в вечной тревоге, под угрозой грабежей, пожаров и смерти. В 1800 г. вальяновцы хотели отойти вглубь, на реку Бейсужок, подалее от горцев, да не разрешили казацкие старшины. А через восемь лет пришлось станицы пополнять переселенцами с Украины — велика была убыль

В людях и от боев и от болезней на новых местах.

Бальяновцы держали круглый год два военных поста по берегу — Редутный и Изрядный. В шести верстах от станицы вверх по Кубани и сейчас стоит высоченный яр, заросший одичалыми садами, с остатками валов. Здесь и был первый пост запорожцев, это место и сейчас зовется редутом.

Но и посты не спасали. Историк кубанский Щербина пишет о том, как в январе 1841 г. в станицу ворвался пятитысячный отряд черкесов и изрядно погромил ее.

Семидесятилетний казак Михаил Вакулович Миц между делом рассказал мне о стычках станичников с черкесами, бывших на его памяти. Свежий и румяный старикан — бывают такие тихие и сочные августовские закаты — Михаил Вакулович, первейший станичный плотник, не выпускающий и сейчас из рук ватерпаса, вспоминал:

— «Неспокойны куры с вечера — быть черкесскому набегу. Под утро раз, — помню, туман густой был, — пошли солдаты под кручь за водой, а там черкесов тысячи. Черкесы перерезали их и ворвались в станицу. Полстаницы вырезали, пока из Усть-Лабы артиллерия не прискакала на выручку. Сколько народу побили... Да и казаки не спускали. Чуть с посевами убрались — и айда в набег на ту сторону. Нет того казачьего двора, чтобы не пограбил черкеса, не приволок в хату поживы».

И сейчас еще в каждом казачьем дворе можно найти старинные черкесские вещи — трофеи грабежей.

От соседей своих переняли кубанские казаки одежду, обычаи, страсть к разукрашенному оружию.

В праздник выражаются кубанцы в алые, малиновые, синие бешметы. Узкие талии крепко стянуты поясами, сверкают серебряные — ажурной работы — гозыри и наборы на поясах.

Старики ходят в высоких бараньих шапках, а молодые в кубанках — несмотря даже на июльскую жару; жинки и дивчата — в ярчайших кофточках и платьях.

А когда из Закубанья приедут погулять кунаки — не разберешь с непривычки, где казаки, где горцы: много черкесской крови у кубанских казаков, есть казачья кровь и у горцев. И лишь речь черкеса, в которой звучит и скок горной воды в ущелье, и шелест тревожной листвы тополей, и гортанные вскрики дикой птицы, и шумы тугих прикубанских камышей, — речь черкеса отлична от мягкой кубанской мовы — особого говора, образовавшегося из украинского языка с примесью всяческих языков и наречий.

Я живу на общественной квартире. По хорошему обыновению в кубанских станицах советы держат общественные квартиры для приезжающих.

Хозяин — низкорослый, сухой, черноусый казак. Михаил Павлович Попов, когда-то урядник Екате-

ринодарского конного полка. С виду ему лет тридцать пять, на самом деле — за пятьдесят. В доме его как-то даже и не видать, — всем заправляет жинка — голосистая, чуть расплывшаяся Марья Степановна.

Хозяйство — крепкое, ближе к кулацкому. О хозяйстве своем хозяева говорить избегают. Михаил Павлович подрабатывает извозом — у него хорошая линейка, и он почти каждую ночь возит на вокзал пассажиров, зарабатывая рубль-полтора, а потом успевает днем и на степь, где у него работают сын с женой да временные батраки. Они возвращаются со степи поздно, в сумерках. В этот час — короткий и смутный — по улицам скрипят арбы, фыркают лошади, взбrehивают собаки. Позднее — встает над станицей тонкий и желтый серп месяца. Казаки ужинают под дедовской тутуней или грушей около хатки за крупными и низкими — как у черкесов — столами. Молодежь норовит скорее на улицу. Где-то далеко, в плотной синеве неба, звенит песня.

Каждый вечер мимо окон идет с одной и той же песней группа ребят — голоса одни и те же. Слова песни выговариваются отчетливо — выводят их в унылом, тягучем мотиве.

... Наихали вражьи силы, руйнують станицы,
Добро наше забирають, бьють нас из ружницы.

Гуляет молодежь обычно около совета, там горит электричество — вокруг лампочек толкуются об-

лака мошек, заглушая и без того не сильный свет. Прогулки мимо нашей квартиры — назойливы и странны.

Расспрашиваю местных работников — что это за песня? Предстансовета Темнов вскидывается:

— Как, как? Да ведь это же «Пугач», ее в двадцать первом году пела контрреволюционная организация как свой пароль...

Вечером опять орали под окном:

Ой, доки ж ми, братья мили, сй, будемо спаты!

Чи ни чуиты, як плаче ридна Кубань-маты...

НАЖИМАЕМ

Объехал Вальяновский юрт — четырнадцать с лишним тысяч десятин. От станицы на север идет чуть бугристая покойная равнина. Тут и там — курени, около них кусты акаций, тополей. Издали степь, словно молодой сад. Курени совсем не для красоты: вальяновский юрт тянется от станицы на восемнадцать верст, в пахоту и уборку каждый день не наездишься в станицу, хлеборобы по неделям живут в степи.

Постоянный мой спутник — товарищ Ханов, зав-орготделом районного партийного комитета, как и я, мобилизованный на хлебозаготовки, вздыхает.

— Ну, и земелька же здесь. У нас (в Сталинградской губернии) земля тоже ничего, а против этой куда

же! До двухсот пудов с десятины выходит, а? Да в урожай тут завались зерном!

— А сколько заготовлено с января в станице?

— Вагонов сто. Сто тысяч пудов. Почти одной пшеницы сто тысяч пудов.

— Ну, а сейчас много хлеба в станице?

Ханов быстро оборачивается ко мне тяжелым квадратным туловищем. В глазах какое-то недоверие, отвечает уклончиво.

— Хлеб, конечно, есть. Может быть, не в такой мере. Туго идет он. Это ведь станица...

Хлеб, действительно, идет очень туго. За май и июнь по плану надо заготовить сорок две тысячи пудов, а на 19 мая станица дала лишь немногим больше тысячи пудов.

По всему округу хлебозаготовки шли не лучше. Неделю тому назад краевой комитет партии бросил на Кубань несколько десятков «уполномоченных для наблюдения и содействия ходу хлебозаготовок». И вот уже около недели я в станице — с кипой инструкций в кармане. В письме крайкома — суровое и крепкое:

«Ход заготовок внушает большую тревогу за выполнение плана. Немедленно добейтесь перелома в ходе заготовки хлеба и обеспечьте выполнение задания.

...Трудности, с которыми придется встречаться и их преодолевать на местах при выполнении данной директивы, при покупке каждого пуда хлеба, — обязывают организации и каждого коммуниста удесятерить свое напряжение и усилие. Во всей работе, нажимая на кулака, преодолевая его сопротивление, необходимо четко про-

вести линию партии в отношении середняка, самым решительным образом не допускать и преодолевать искажения этой линии. В развертывании хлебозаготовок используйте активность и организованность бедноты...»

Работники станицы встретили как-то настороженно, видимо, расценивая присылку меня как одну из карательных мер. И секретарь ячейки Ядровский, сутулый, пожилой, в сером пиджаке не по росту, похожий на небольшого медведя, и старший милиционер Бараненко — подтянутый, тонкий, нагловатокрасивый блондин, и председатель правления ЕПО Ярин — щеголяющий по станице в белых коротеньких брючках, с галстуком бабочкой, и предстансовета Темнов — высоченный, узкогрудый, с наганом в складках длинной казачьей рубахи, ладно перехваченной пояском с костяным набором, — все они смотрели мне в глаза и ждали...

Я присматривался. На две ссыпки поступало за день пудов сорок, по станице уныло бродили контр-агенты ЕПО и Сельхозтоварищества.

В прохладных гулких коридорах стансовета толкалось по полсотне хлеборобов, галдевших шумно и горячо и замолкавших при моем приближении.

В день моего приезда Темнов целое утро беседовал с вызванными хлеборобами, приглашая их по очереди из коридора. Я пошел к председателю. Посередине его кабинета стоял старик, опираясь на подожок старчески-дряблым телом.

Темнов, отвалившись на спинку деревянного кресла, важно и строго говорил:

— Так вот, гражданин Гребенюк, у вас шестьдесят пудов хлеба, и вы должны половину продать. Надумали вы продавать?

— Не продам я хлеба, это у меня только для себя хлеб!

— Я тебе приказываю продать. А то будешь еще сидеть.

Старик смотрел, сбочив голову, на стену, — на стене под солнцем сверкал барометр.

— Конечно, буду сидеть. С поста не уйду. Только нет у меня хлеба.

Темнов ответил на мою записку, что старик уже второй день ночует в совете, домой его не отпускают, потому что он не продает хлеба.

— Ну, не продашь хлеба? — Темнов уже сердился.

— Нема хлеба.

— Смотри, старик, сами возьмем.

— Як возьмете? Я не позволяю.

— А я говорю тебе: продай хлеб.

— Так как же я его продам? Посеву у меня три десятины, и тот плохой. Хозяйство тоже плохое. Дочка больная, стара совсем ослепла, а я — какой работник? У меня протокол есть, что я никудышный. Как я продам хлеб?

Старик вдруг взмахнул руками, лицо его сморщилось, седая с желтыми прядями борода подобралась в комок, и он всхлипнул:

— Я старый, чего вы меня держите? Я исты хочу.
Э-эх...

Вслед ему Темнов сердито буркнул:

— Варит воду, сука!..

В коридоре совета старика окружили, сочувственно расспрашивали.

Бывший станичный атаман Христушь густым басом, словно бугай, ревел:

— Воны усим хлеборобам так, хай им бис!

К вечеру в этот же день приехали предрайисполкома Миронов и представитель окружного парткомитета Рынкин — для инструктирования. На экстренном заседании бюро ячейки мы отменили систему вызова середняков, сформировали четыре закупочных комиссии по числу участков в станице, выделив председателями членов бюро ячейки.

Я только что установил вместе с предсовета Темновым, что много кулаков по самообложению платили недостаточные суммы, — обложены они были мало. Миронов, когда я ему сказал об этом, крепко выругался и вдруг повеселел.

— Выписать им дополнительные повестки как на недоимки. Довести самообложение до ста процентов налога!

Мне это очень понравилось, мы оба внесли предложение — и оно было принято.

...На другой день по станице пошли новые закупщики, а в совете заскрипели перья двух десятков

школьных работников, мобилизованных писать повести на недоимки по самообложению.

19 мая на ссыпки поступило двести сорок пудов. Небывалое повышение.

Занченко, приемщик на ссыпке Сельхозтоварищества, издали крикнул:

— Сегодня лучше!

В огромном амбаре-ссыпке было жарко, в открытые двери то-и-дело сновали, оглушительно чирикаая, воробьи. На полу лежал бугорок чувалов. Занченко, запустив в незавязанный чувал руки и, пересыпая тяжелое желтое зерно, сказал:

— Если бы так вот держаться— лучше и не надо!

А 20 мая нам пришлось крепко поругать закупочные комиссии на очередном заседании бюро ячейки. Заседания мы решили проводить ежедневно, постановив:

«Всю работу по хлебозаготовкам поставить на боевые рельсы. Всех партийцев считать мобилизованными для хлебозаготовительной работы. Ответственность товарища за порученную ему работу должна быть полная на все 100%. Дано задание — надо его выполнять...» (Из протокола № 22).

Закупочные наши комиссии переусердствовали.

Исаев — председатель закупочной комиссии первого участка — сообщил, что он ходил из двора в двор и обыскивал всех.

— Как обыскивал?

Исаев улыбается — хитро косит круглым серым глазом, покачивает ногой в высоком, аккуратно си-

дядьком сапоге. Выправка у него бравая — старый служака.

— Собственно, не обыскивали мы, а осматривали. Заходим, конечно, во двор. «Хозяин дома?» — «Дома». — «А мы к тебе хлеб покупать». Он, конечно, брыкается — нема хлеба. Тут его агитируешь. А он — опять свое. «Да есть у тебя хлеб». — «Идите, подивитесь». Тут мы и идем. Он вамбар, а мы уж и в хату. Он в хату, а мы и на горище. Глядишь — тут мешок, там мешок. Как же, мол, ты говорил, что нет? Обманываешь власть? Завтра же вывези.

— И ко всем так лазили?

— Конечно, ко всем.

Остальные три комиссии действовали так же.

Бараненко — старший милиционер — ухитрился у маломощного середняка Булаша, только что вернувшегося из Красной армии, взломать печь и найти там замурованные двадцать пять пудов пшеницы. Другая комиссия — под руководством зампредсовета Ничая — обыскивала бедняков.

Долго пришлось растолковывать, что так не годится. Бараненко упирался:

— Да они все хлеб попрятали. Обыскать их всех под ряд, душа с них вон!

На этом заседании были комсомольцы. Они сидели на окне, давно возились и хихикали. Сына машиниста Вербова спихнули секретарь Мельниченко и Суслик, батрак с хутора Красноматвеевского. Спихнули и притихли, как нахохлившиеся воробьи, а

Вербов — красный, еле сдерживая смех, выскочил за дверь.

На ребят все единодушно набросились, как будто их резвое озорство и было причиной всех невзгод. Из ругани вдруг выплыла боевая для комсомольцев задача — освещать настроение населения, выявлять кулацких агитаторов и укрывателей хлеба.

СТРАДА

Базар станичный — в пустыре, в углу центральной площади, — открывается рано, чуть рассветает. К шести часам — столы уже пустые, а от шумихи и суеты — остались лишь два ларька — местного ЕПО и частный, возле которых в это время редко-редко сойдутся два-три покупателя.

Мы зашли на базар в самый разгар. Прямо на земле, на соломе, рыбаки рубили на куски и продавали живую еще севрюгу — ночного улова. На столах были четверти с молоком, кусочки масла, пучки зелени. Базар встретил нас подозрительно, злым и опасливым взором. Базарный гам стал тише.

Толстая казачка, к которой мы приблизились, растопырила над своей снедью руки, словно защищаясь.

Ни муки, ни хлеба на базаре не было. С краю продавали ведер десять кукурузы и пшеницу — из тощего мешка чайными блюдечками — для кур.

Около пекарни, за базаром, стояла большая очередь.

Пекарня продавала хлеб лишь бедноте и служащим, по спискам ККОВ'а, от которого пекарь и получал муку. Очередь нас обстреляла:

— Почему мало хлеба дают — по полтора фунта на человека?

— Рабочему человеку этого разве хватит, приварка ведь нет!

— Порядки тоже, ходи сюда каждый день, а когда работать?

Бедноту пришлось взять на снабжение с ранней весны, когда на базаре хлеба не стало. ККОВ'у заляновскому это была дополнительная и труднейшая работа. Сам заготовки он вел скверно — пудов по десять в день. От двух тысяч отмерного зерна с мельниц осталось пудов полтора, а суточный расход доходил до шестидесяти пудов.

Председатель ККОВ'а Горлопан, огромный и нескладный, с растерянным, красным и вечно потным лицом, бегал целый день, — то из комнаты ячейки в кабинет Темнова, то на сыпку или в пекарню. Работу — составление списков получающих хлеб — вела деловод ККОВ'а — девушка.

Горлопан работал в ККОВ'е временно, — замещал ушедшего на военный сбор Ильенко, — в степи у него запаздывала полка, и хозяйственные задачи совсем выбивали его из колеи.

Я выяснил, что ККОВ довольствовал свыше тысячи человек. Цифра эта оглушила и Темнова, и Ядровского, и всех

— Откуда же столько налезло? — разводил руками Ядровский и напускался на Горлопана, утиравшего лицо рукавом рубахи:

— Чего ты там смотришь? Немедленно проверь. Ступай!

Вслед убежавшему Ядровский горестно разводил руками и качал головой:

— Я так и знал! Что я буду делать с этим народом...

Чтобы не сорвать местного снабжения, мы отрывали часть хлеба из государственных заготовок — провал снабжения бедноты был бы и политическим провалом!..

На улице ко мне подошел Якуба, один из закупщиков ККОВ'а.

— Товарищ уполномоченный, это не дело.

— Что такое?

— Да вот ходим мы по дворам, следом за кооперативными комиссиями, только надоедаем хлеботоргам. Не надо нам ходить.

Якуба — низкорослый, сухощавый, лицо у него подтянутое и настороженное, — такие лица бывают у голодающих.

Предложения Якубы мы провели, не дожидаясь санкции района, — объединив местные и

государственные заготовки и отчисляя в местный фонд минимально необходимое количество хлеба.

Якуба пошел работать в кооперативную комиссию. Как-то я с ним разговорился. Он — местный житель, до революции у отца его было хорошее хозяйство. В восемнадцатом отец и два сына пошли в красные партизаны. Якуба и дома не побывал — с турецкого фронта, как ехал с дербентским полком, так ходом и пошел в бой с белыми около станции Кавказской. С 1919 г. Якуба в партии.

Хозяйство в войну пропало. Вернувшись, Якуба батрачил, потом служил ночным сторожем на ссыпке, сейчас безработный.

— Что же тебя не поставят на работу?

— Ядровский там. Сердится, что ли.

Якуба отвернулся, пряча взор, в голосе слышалась обида...

— Тут с партизанами да с беднотой работа вообще ведется плохо, — продолжал Якуба: — смотри, товарищ уполномоченный, ведь беднота совсем не помогает хлебозаготовкам.

Об этом я уже знал по собранию бедноты. Вторично созванное, назначенное на шесть часов вечера в субботу, оно открылось лишь в девятом часу.

Два с лишним часа околачивались на крылечке у театра — постройки местного ЕПО — десятка полтора собравшихся. В улицах стояла густая пыль, грохотали подводы — станица собиралась из степи на праздник.

Ядровский смеялся над Яриным, который за полтора года работы в станице никак не мог научиться говорить на кубанской мове.

— Выйдет он вперед, и говорит: «Це дило треба разжавати». Смех. Какое цедило? Да еще разжавати.

В большом театральном зале собравшиеся—человек восемьдесят—жиденько расселись по скамейкам. На передних двух скамьях разместились жены местных работников—развеселый цветник.

Ханов говорил о том, что беднота должна помогать заготавливать хлеб, как государство помогает бедноте поднять хозяйство.

«Вальяновское сельскохозяйственное товарищество выдало в этом году ссуд до 16 с лишним тысяч рублей против 1.700 в прошлом году, весной вспахана земля 140 хозяйствам—335 десятин».

А на скамейках шли разговоры—щебетали жены работников, шептались хлебоборы,—в зале стоял ровный, тихий гул.

После председательских окриков: — Тише! — гомон на минутку замолкал и вновь начинался, словно гудел гигантский пчельник. В открытую дверь слышалось токание еповской электрической станции—станция маленькая, ток идет неровно, временами в зале сгущается нудный полумрак.

— Кто хочет говорить? — тщетно зывал Ядровский, бессменный председатель всех заседаний в эти дни.

Говор на скамьях усилился, выступающих не было. Наконец собрался с духом Горлопан, нескладно по-

вторивший слова Ханова. Не успел он закончить,— как с задней скамьи вскочил грузчик Шаповалов:

— Граждане, смотрю вот я и вижу. Разве это дело? Забрался Горлопан в ККОВ, — и уже начальство, разговаривает. А у кого хлеб, спрашиваю? У кого хлеб?

Шаповалов остановился, выставив вперед заросшее густейшими рыжими волосами лицо, и медленно оглядел притихший зал:

— У кулака хлеб дочиста забрали еще зимой, а у середняков по сотне пудов осталось. Да и беднота — у нее хлеб есть, а она в ККОВ за хлебом...

По скамьям прошелестело, кое-где улыбались. Шаповалов, внезапно обозлившись, крикнул:

— А служащим теперь лучше всех живется...

Он внезапно икнул и сел. Якуба — издали — выразительно пощелкал себя по горлу и по лбу, кивая на «предыдущего оратора». Со скамьи кто-то громко сказал:

— Всегда вот так. Нажрется и шумит.

Хлеборобы не выступали. Лишь после обязательных речей местных работников, когда была предложена резолюция, в которой беднота обязывала себя активно участвовать в хлебозаготовках, — посыпалось смятенное:

— Да как же мы будем заготавливать, когда у нас хлеба нет?

— А куда это столько хлеба идет, за границу, что ли?

— Заготовляем, заготовляем, а самим жрать нечего...
На скамьях шла своя, особая жизнь — словно люди были за толстой прозрачной стеной. Резолюция была принята большинством голосов, воздержавшихся не было.

Спокойный и улыбающийся Ханов приуныл, начал поругиваться с Ядровским:

— Чего ты врал в отчетах? Где у тебя организованная беднота? Где твоя опора-то? Р-работники!

Ядровский ругал всю ячейку:

— Что я, — один за всех, что ли, управляюсь? С этим народом ничего не поделаешь.

Группы бедноты при общественных организациях еще не работали, — созданы они были лишь в начале мая, да и то по настоянию Ханова, обследовавшего тогда работу с беднотой. Я посмотрел список группы бедноты при сельхозтовариществе. В ней было 13 человек, из них 7 служащих, не связанных с сельским хозяйством.

Мы бегали с Хановым по несколько раз в день на ссыпку. Еповскую ссыпку закрыли — она принимала в день всего пудов по десяти.

Приемщик Занченко встречал нас уныло. Пустые валялись у него на столике пурки, пустые и недвижимые* стояли под навесом весы.

— Несут по два, по три пуда, на руках несут, — никогда этого не было, — мрачно говорил Занченко.

— А индивидуальные, добровольные поступления были?

— Ни одного. Все от закупочных комиссий. Я всех ведь спрашиваю.

Кулак Бережный при нас привез на ссыпку на колясочке один мешок.

— Закупочной комиссии обещал пять пудов — вот привез. Приста-али...

В мешке оказалось меньше четырех пудов.

— Как тебя не разорвало, — ругался Занченко.

— Гражданин дорогой, ей-богу, больше нет. Хоть зарежьте здесь на месте — нет! Всей бы душой!.. — уверяет кулак, а сам еле тушит в нахальных серых глазах усмешку.

Вдруг спрашивает:

— Правда ли, что в России сплошь голод, как в двадцать первом году?

— Откуда это ты взял такую чепуху?

— Да говорят...

Слухи в станице один за другим, как зерно из прованного чувала. То сообщалось, что большевики, вот, заберут хлеб, потом теплую одежду и уйдут с Кубани, потому что из-за границы идут «наши».

Утром с базара неслась весть, что в городе соседнем восстали две батареи, а под Новороссийском высаживается десант.

На собрании женского актива станицы собралось человек пятнадцать. Вдруг разгорелась беседа.

— Мы бы вам все сказали, только не знаем, кто вы, — сказала мать Якубы, сухонькая старушка

с карими прозрачными глазами, смущенно прикрывая рот коричневой жесткой рукой.

— Как не знаете? — опешил я.

— Бабы вчера говорили, что вы доктор — доктора в парусовых штанах ходят.

Другая старушка — Гринченко, тоже старая партизанка, как и мать Якубы, сказала:

— Подавали мы в совет заявление, что есть у нас служащие нежелательные элементы. Как что про кулаков скажешь — сейчас им известно. Мне вон Прасол Алешка говорит: доноси, так твою мать, придут наши — кровиночки не оставлю на этом свете.

Женщины смелеют:

— С нами не поговорят. Не расскажут. Это вы вот собрали. А по станице всего наслушаешься — ночь не уснешь.

— А что такое?

Замялись делегатки, подталкивали Гринченко Шопотом, видимо побаиваясь, она сказала:

— Говорят у нас по станице, что ции хлебозаготовки — це не дило Ленина, а це контрреволюционеры наши роблять. Позализали во все органы и гадять, а партия наша не знает...

Слухи сплетались в сплошную ткань, закрывавшую от нас станицу.

Источники слухов оставались неразысканными. Наши попытки найти сплетников — утыкались, вязли в мутной и податливой тине ответов.

— Говорят .

— Кто говорит?

— Мало ли кто? Все говорят...

Хлеб поступал на сыпку не равномерно, скачками вверх и вниз — до ста пудов. Спасали же нас две-три крупных партии хлеба, обнаруженные у отдельных хлебобобов. Удачливее всех работала комиссия Петрова, казначея сельхозтоварищества. Был у него какой-то нюх на хлеб, да и сведений было больше. Пулеметчик из переменников, лихой стрелок, пользовался он большим уважением со стороны всех красноармейцев станицы, они-то и помогали ему.

Больше трехсот пудов в сутки мы не заготовливали. Невольно вставал вопрос:

— Да есть ли хлеб в станице, где он?

На собраниях мы с Хановым ругали ребят:

— Что вы знаете про станицу? Работаете втемную, — тут, конечно, много не сделаешь. Если бы у нас было освещение, давно бы и заготовили хлеб.

И настойчиво утверждали:

— Хлеба в станице достаточно.

За нами вскакивал тощий и длинный Темнов. — вскрикивал:

— Товарищи! — и продолжал покойнее, но важно: То, что сказали товарищи, — правильно. С этим нельзя не согласиться. Я действительно удивляюсь, как мы сами об этом не подумали.

Когда Темнов впервые при мне заявил о том, что надо признать ошибки, это произвело хорошее впечатление.

чатление, но соглашался он каждый день, и непременно с нами, а на станичников своих обрушивался с бранью.

Ядровский как-то рассказал, что Темнов на другой день по приезде в станицу — его перебросили с месяца тому назад — поехал верхом осматривать поля. Старый кавалерист, он лихо запылil по дороге, а вслед ему посматривали хлеборобы с одобрением:

— От-то добре. Сидить, як гвоздем прибитый.

С возвращающимся Темновым станичники сами вступили в разговор:

— Ну, как там, на степу?

— Зеленеет.

— Что? Зеленеет? В очах у тебя, видно, зеленеет, сказана сила!..

«...А может быть в станице хлеба нет?» — брало раздумье, но факты выбивали его. Комиссии находили каждый день крупные партии. У члена стансовета Плешаня Петров обнаружил полные закрома пшеницы. Плешань, смущенно посматривая по сторонам большими — в красных кольцах век — глазами и обдергивая рыжую бороду, говорил:

— Я не успел вывезти. На неделе собирался.

На пленуме совета месяц тому назад Плешань один из первых голосовал за то, чтобы немедленно продать излишки.

— Сколько же ты теперь продашь? — спрашивал его Петров.

— Смотрите. Пудов, мабуть, пятьдесят.

В закромах же было не меньше двухсот пудов пшеницы да пудов пятьдесят муки.

Вывез Плешань полтора пуда зерна — высшей природы.

Через день Петров случайно заглянул к Плешаню — Плешань был очень встревожен этим, сильнее зыркал глазами по сторонам, сильнее тербил бороду. В закромах у него было опять полно. И через три дня после этого — в третий уже раз у Плешаня были опять полны закрома в амбаре.

Вывез Плешань четыреста пудов.

— Почему ты сразу не вывез?

— Да вы сами говорили: «Вывези полтора пуда», я и вывез. Вы скажете, а я вывезу.

Масса середняков упорно отговаривалась:

— Нема хлеба!

Как-то вечером мы пошли с комиссией Петрова к середнякам Матусенко — двум братьям, живущим вместе. У забора мы остановились, постучали палками, чтобы хозяева проводили от остервенелых псов. Двор у Матусенок огромный, хата просторная — в четыре комнаты, снаружи выбелена, два амбара крытые железом — на высоких подмостках, чтобы не тронула зерно кубанская осенняя сырость, — везде заботливая хозяйская рука.

Встретили нас две казачки, как встревоженные наседки, окруженные кучей чумазных ребятишек.

Петров повел разговор жиденьким своим тенорком:

— Вы хозяйки?

— Та мабуть мы, коли хозяев немає.

— А мы к вам хлеб покупать.

Казачка помоложе молча ушла в сторону, уводя ребят, другая замахала руками.

— Який у нас хліб. Нема хліба. Дитям исты не-
чего, — кричала она беззубым ртом, в котором тор-
чали черные корешки, отчего лицо ее было осо-
бенно злое. Кофточка вдруг распахнулась, и в про-
рехе метнулись тощие и вялые, как табачные
папуши, груди.

— Не ходить, не ходить до нас, нема у нас хліба

К воротам подъехала арба. Спрыгнул старший
Матусенко — невысокий, плотный, весь в пыли, под
соломенной своей шляпой похожий на кубанский ко-
ренастый подсолнечник, выросший близ проезжей
дороги.

— Что такое? Хлеба у нас нема, товарищи гра-
ждане.

Мы прошли во двор. Хозяин сел на пенек у амбара,
начал спокойно вертеть папироску.

— У нас точные данные, что у тебя хлеба много, —
наступил Петров.

— Ось мои данные, — тихо сказал казак, пока-
зывая на ребятишек:

— Возьмите, прокормите их — я весь хлеб отдам.

— Ну, а сколько же у тебя хлеба?

— Идти в амбар, подивитесь.

Мы с Хановым переглянулись — идем, мол.

— Ну, если ты просишь — давай посмотрим.

— Смотрите. Анна, дай ключи.

— Пид спидницу им дивиться ше, — с сердцем сказала беззубая казачка и быстро зашагала в хату босыми смуглыми ногами.

Второй Матусенко распряг лошадей, наложил им травы и подошел к нам, — такой же крепкий и пыльный, как брат, немножко разве поуже в плечах.

— Напрасно не верите, товарищи, излишки мы еще зимой вывезли.

— Нехай дивятся, нехай, — нервно перебил его старший, вдруг выдавая свое волнение.

Замок амбара долго не открывался. Казачки бранились:

— Вам бы последнее взять!

— Беруть и беруть. Усе дай, а нам ни боже мий не попадае.

— Да тише вы, бабы, — осаживали их казаки.

В амбаре было жарко и пыльно, пахло хлебом, теплой затхлостью. Петров обшарил закрома.

— Э-э, да тут у тебя пшеничка насыпана. Ты зачем ее кукурузкой-то засыпал?

— Та яка там пшеничка, то для курей. — Беззубая полезла в заком с ногами, словно в бой.

— Курям пропадать, что ли, надо?

— А тут тоже для курей? — Петров шарил палкой в другом закроме, — и в этом тоненьким слоем на полу лежало зерно.

— Муки у тебя, хозяин, пудов двадцать пять.
Где еще мука-то?

— Та в хате мешочка два есть.

— Ну, вот. А вы говорили — хлеба нет. Добрых двадцать пудов можете продать, — наступал Петров на Матусенок.

Лица казачьи — хмурые.

— Так сколько же продадите? — спрашивал Петров.

— Ничего не продамо. У нас двенадцать душ.
Как хватит до нови, и то хорошо.

— Да куда вам столько?

— Озимые не уродили, а до кукурузы далеко еще!
Сколько же вы считаете на едока, какую норму?

— Норму мы не устанавливаем. Оставьте сколько надо, а остальное продай.

— Мне все надо, у меня излишков нема.

Уперся старший Матусенко — никак не убедишь.

— Да ведь тебя государство призывает помочь ему.

— Нема излишков.

Матусенко смотрит вниз, в синих глазах — скука, крутые плечи вяло поникли.

Где-то видел я точно такие плечи. Да, в Кушевке на элеваторе. Это еще в январе было, когда только еще развertyвалась хлебозаготовительная страда.

Тяжело нависло над степью серое январское небо, мыкались, скрадывая дали, туманы, — деревья станичных садилов за полтысячи шагов уже синели, подернутые дымкой. За станицей степь, не успев размахнуться, упиралась в плотную мглу.

Кушевский элеватор высился над округом надежным стражем. У элеватора начиналась голова диковинной очереди, хвост которой шел на версту, тая в дали.

В конторе элеватора, на столе, блестящие медные чашки, весы — рижская пурка для определения натуры зерна. Натура зерна — вес определенного количества зерна в особых золотниках. Чем породнее зерно, тем больше его натура.

Рядом с весами на столе — грудки пшеницы, твердой и пышной кубанской гарновки.

В конторе шумно. Заведующий элеватором, комплекцией своей напоминающий элеватор, серьезно и вдумчиво орудует с пуркой — подбрасывает золотники, прищептывает:

— Сто двадцать семь, восемь... — торжествующе заканчивает: — Сто тридцать!

Высшая натура на Кубани — сто сорок.

Улыбается заведующий, улыбается завозжанин — казак с огненными крутыми усами и темным, выдубленным солнцем и ветром, лицом. Мы с ним разговорились.

Степан Антонович Рыскун — кушевский середняк. у него пара лошадей, шесть десятин посева. Привез он на сыпку сто пудов.

— Я как услышал, что государство кличет помочь — сейчас говорю: «А ну, баба, пойдем зерно переточим», — рассказывал Степан Антонович, и веселье плескалось в озерках его глаз:

— Раз просит власть, мы пожалуйста.

Он сам носил на весы чувала по пять с лишним пудов, — кряжистый и крутоплечий.

В тот день на элеватор поступило пять тысяч пудов.

...Овеянный теплом воспоминаний, я вступил в разговор. Убеждал Матусенок, рассказываю о кушечках.

Старший Матусенко вдруг взволнованно сказал:

— Милый человек, да ведь нема лишнего. Ты разве не понимаешь?

— Нема да нема, а сами везде прячете. Лучше продайте, а то поссоримся, — сердито разразился Петров.

— Как поссоримся? — Матусенко решительно встал с пенька. — Товарищ Рыков сказал, что с середняками ссориться нельзя. Мы читали.

— Так вот ты и продай.

Дальше был тупик. Чтобы выбраться из него, я сказал:

— Ну, ребята, пойдемте, он подумает и сам продаст. Ханов широко вздохнул и первый пошел на улицу.

— Як новину соберем, зараз отвезу, — сказал вслед нам Матусенко.

Женщины не скрывали враждебных взоров.

Петров в раздумьи сказал:

— У них, пожалуй, и в самом деле лишнего нет. Они только становятся на ноги.

— А чего же ты к ним пошел?

ВРАГ

Мы проводили собрания, заседания, беседы—то с женщинами, то с беднотой, то с середняком и служащими. Горячо объясняли положение страны, связывая наглядно интересы государства с интересами станицы Вальяновской, — получалось внятно. И все-таки — станица противостояла расплывчатой и мутной массой, смыкавшейся вслед за нашим напором. Словно кто-то старательно заделывал все наши бреши и прорывы — наши разъяснения густо присыпая шелухой слухов, наши дела растолковывая против нас.

На пленуме совета я как-то упрекнул присутствующих, что они плохо работают по хлебу, плохо работают по хлебозаготовкам. На другой день ребята сообщили, что по станице идет слух: будто бы я говорил, что казаки плохо обрабатывают землю, что за это у них надо землю отобрать.

Во дворе станичного совета стояли пять молотилок.

Молотилки эти были в феврале куплены районным ККОВ'ом с торгов, — принадлежали они раньше кулакам, а были проданы за неуплату недоимок по на-

логу и самообложению. С февраля месяца эти молотилки и стояли под открытым небом — под дождем и снегом. Молотилки покрылись толстой густой ржавчиной, краска на деревянных частях полопалась и облезла. Совет и ячейка давно уже поднимали скандал перед районом, район все помалкивал, а во дворе стансовета бывали люди, осматривали молотилки, гудели.

— Бачите, як добро пропадае.

— Ни себе, ни людям. Ось так усё заберуть — нехай пропадае казачество.

В народе бывали и хозяева молотилок.

...Петров прибежал как-то в полдень, бледный, трясущийся.

— Меня чуть не избили!..

Вместе с членами своей закупочной комиссии он зашел к кулаку Прасолу Семену. Дома была хозяйка. В амбарах по всем полам была рассыпана пшеница, смешанная с кукурузой, в кухне было пудов двадцать муки. Петрову показалась подозрительной постель. Он отдернул одеяло — под ним была гора чувалов. Вместо подушек тоже были чувалы — в наволочках. Муки было на „постельке“ пудов сорок.

Жена Прасола вцепилась Петрову в грудки, завопила:

— Грабители! Убить вас мало!

На крик бежались соседи. В хату вломился брат хозяина Иван, колом замахнулся на Петрова, который рванулся из рук кулачки, оборвав на ней кофточку.

На допросе у старшего милиционера Иван Прасол был тихий.

Широкий и поджарый, стоял он, вытянувшись, перед столом. Бешмет туго обтягивал большую грудь. Дышал Прасол излишне часто — боками и животом, растягивая ткань.

— Извиняюсь, пожалуйста, у каждого есть сердце. Я покричал, как побачил, что Петров наругался по матушке, невестку потерял. Взяло меня горе. Простите.

Прасол даже всхлипнул, закрыв руками сухое горбоносое лицо в заросли рыжих волос.

Бараненко спросил у него, кто из кулаков прячет хлеб.

— Не знаю.

— А Хижний прячет?

Хижний — это один из мощных кулаков станицы, владелец паровой молотилки, арендовавший десятин сорок к своему немалому наделу.

Прасол, видя, что над головой не каплет и чтобы смягчить свою вину, пустился в большой рассказ.

— Хижний? Кто его знает. Не должно у него хлеба быть, а только по-моему и есть у него хлеб. У кого тогда и будет хлеб? Хижний — он хи-итрый, такой хитрый да вредный. Мы с ним на персидской границе служили, в седьмом пластунском его превосходитель-

ства фельдмаршала князя Барятинского полку. Как пошли служить — ему батько дал семьдесят четыре копейки, так вин их домой принес. А мне батько дал двадцать карбованцев, так я с хлопцами до Армавира все пропил...

Во дворе у Хижнего была крепкая брань. Небольшого роста, черный, бородатый, с колючими карими глазами, он пошел напролом.

— Не пустю в амбар. Нема хлеба.

— Раз нема, так и дай посмотреть.

— В глаза вам колом поширять, мабуть, перестанете ходить. Скорей бы уходили, что ли, вы с Кубани.

Мы с Хановым шли домой, когда мимо нас тыждневой с винтовкой провел Хижнего в совет.

— Ты бы пошел поговорил с ним,—сказал я Ханову.

— Чего мне с ним говорить? Это ведь враг, враг. Не буду я с ним говорить. Нажать на него надо.

Упорство врага было огромное, присутствие врага было всюду, во всех станичных делах.

Бывший станичный атаман Николенко мешки с мукой заложил в закроме под отруби, пшеницу засыпал кукурузными кочанами, пять мешков запрятал в саду, в траве.

Беднота сообщала, что каждую ночь хлеб вывозят в степь и закапывают его там.

К бывшему красному партизану Миронцу в его отсутствие сосед-кулак притащил двадцать пудов зерна, — уговорил жену Миронца спрятать его.

Миронец — общественник, председатель организованного весной коллективного хозяйства «Коллективист», узнал об этом тогда, когда по соседям пошел слух, что он прячет кулацкий хлеб. Жене от него досталось, а сам он, взъяренный, примчался в совет.

— Так его растак, паскуду. Идти заберите, товарищи! Какой стыд!..

По станице начался учет объектов обложения по единому сельхозналогу. В участки станицы вызывались хлеборобы и опрашивались здесь. В третьем участке — самом кулацком, около амбарчика, в котором происходил опрос налогоплательщиков, собралась большая толпа, расселась на горке брезен. Мимо проходил предправления ЕПО Ярин.

— Товарищ Ярин, идти сюды.

— Что?

— Ось у нас острый вопрос.

Ярин тоже уселся на бревнушке. Его окружили. Посыпалось:

— Что это за жизнь пошла? Жмут хлеборобов, как нельзя.

— Рабочему и школы и дома понастроили, а с нас все дай.

— Налог плати, заем плати, самооблог плати, а нам немає.

— У рабочих союзы есть, союзы действуют.

— Нехай нам дадут союз хлеборобов.

— Товарищи, крестьянские союзы — начал было Ярин, но ему не дали вымолвить:

— Та не крестьянские союзы, то не треба, а нам союз хлеборобов.

Галдело человек пять кулаков, рвали Ярина, как собаки кабана.

— Все равно, хлеборобский, крестьянский союз, это одна штука, — подавал Ярин голос, но сзади басил старик в хромовых сапогах, с широченной — во всю грудь — серебряной бородой, с лицом цвета красной меди:

— Говорите вы только, а не делаете. Самооблог взяли, а где денежки, денежки-то где? Говорили: ш-школам ремонт дадим! Больницу построим!..

С самообложением в станице, действительно, было не ладно. Собрано было к весне тридцать три тысячи рублей, которые были тогда же отправлены в район, и оттуда станица не получила ни копейки. Ядровский засыпал район жалобами и просьбами, а денег район не давал.

— Самообложение мы хорошо провели, а работа вот вся на смарку, — ругался Ядровский, негодуя.

Ругались и другие:

— На-днях мне один середняк говорит: «Что ж, товарищи, уговорили вы тогда голосовать, а напрасно я послушался. Потолки-то обвалятся в школах, ремонта не дождутся...»

Райисполком, наконец, прислал бумажку, в которой сообщил, что 1.034 руб. 37 коп. из сумм самообложения Вальяновской перечислены на текущий счет райстрахпункта в счет погашения задолжен-

ности совета по социальному страхованию. Дальше в бумажке шло длиннейшее поучение — заприходовать эту сумму, выписав желтый ордер, списать в расход, выписав красный ордер по статье общественных сумм, и провести его по кассовой книге совета, выписав приходный и расходный ордера красного цвета.

О бумажке этой тоже [прошел по станице слух:

— Видите, деньги-то не дают. Собирают, собирают, а потом и убегают с Кубани...

...Ярина выручили случайно подошедшие ребята, дружным натиском разбившие кулаков.

На очередном собрании ячейки мы опять говорили, что надо глубже выявлять настроения хлебоборцов, усилить борьбу с укрывателями хлеба — кулаками и с кулацкой агитацией.

Кулак поднимал голову, пролезал в каждую трещинку, хитрый и подлый, трусливый и злобный, готовый на все и заволакивающий тиной слухов и лжи каждый наш шаг. Шла борьба за каждый пуд хлеба, хлеба, который был так необходим стране!

Бараненко, Ханов и я, втроем, побывали дома у самых крупных кулаков.

Усадьба Прасола Алексея — целая крепость: высокий забор с одной стороны, а с другой — усадьба замкнута стенами построек: огромного кирпичного

дома, маслобойного завода, амбаров, сарая для молотилки и других орудий.

В окнах дома чистейшее бемское стекло, на подоконниках — фикусы, душистый горошек, левкой. Внутри — полы крашенные, в каждой комнате, в проходах — тяжелые кованые сундуки, кровати никелированные, с пружинными матрацами.

— Барахло здесь! — говорит про сундуки кулак.

На стене какая-то старинная картина: у ног статного, серого в яблоках коня, сидит с бандурой запорожец. Под картиной — семья бывшего русского царя.

— Чего это ты держишь?

— Пускай висит, все стены не голы...

На угольнике под целым иконостасом лежала стопка «Правды» и «Известий», толстый агрономический журнал, книги.

— Интересуешься, что в Союзе делается?

Прасол с достоинством одернул широкую чесучовую рубашку, обтянувшую широкие плечи и выпуклую грудь, и приподнял круглое жирное лицо, изуродованное багрово-синей волчанкой.

— Государству нужно богатое сельское хозяйство. Вести его надо научно, — сказал он важно, мягко прогуливаясь по узкой дорожке ковра.

Кони у Прасола породистые, с огромной гладкой спиной, на которой спать можно. На дворе — гам бесчисленных кур, уток, индюшек. Сын Прасола учится в профтехнической школе...

— Знаете, граждане, как хлеб заготовить? — говорит Прасол: — Надо выбрать доверенных людей и обыскать всю станицу зараз. Что лишнее будет — забрать, а потом и не ходить, а то комиссии ходят, ни покоя нет, ни хлеба нет.

Прасол заявил, что хлеба у него всего двадцать с небольшим пудов. Темнов, которому мы сказали об этом, возвратясь в совет, выругался и послал тыж-дневного за Прасолом.

Тот пришел степенно, стал посреди комнаты, заложив руку за борт кожаной куртки.

Темнов набросился:

— Ты, Прасол, сеял двадцать десятин, да молотилкой еще заработал. Куда ты все девал?

— Расходовал по хозяйству, сдал в январе пудов двести, позанимал соседям. — Прасол был невозмутим, немного сбычил голову на коренастой шее, в серых глазах мелькало что-то неуловимое.

— И у тебя двадцать пудов осталось?

— Честное слово, больше нет.

— Врешь, скотина. Говори, куда спрятал.

Прасол посерел, волчанка его налилась багровой кровью, — и тоже — в крик:

— Что вы меня оскорбляете? Вы меня не оскорбляйте, а то ответите. Что вы коммунист, так и кричать можете? Я тоже революционер, недалеко от вас отошел, только партийного билета нет.

— Ах, ты сволочь проклятая, а как ты у меня кровь сосал — забыл?

Машинист Буланов, сидевший в уголке, бросился на Прасола с кулаками. Бараненко еле удержал его.

— Ты меня в двадцать втором году голодом морил, — кричал Буланов. — Кто у тебя за фунт хлеба батрачил?

Прасол стоял, ощерив зубы. Нос его, с выщербленной волчанкой левой ноздрей, скрючился.

— Чтoб завтра же вывез двадцать пудов. Вон отсюда! — крикнул на него Темнов.

Прасол вывез муку в тот же день и уехал. Через неделю мы узнали, что он уехал в Крым, в Балаклаву, — принимать грязевые и солнечные ванны.

На ссыпке он поругался, требуя принять муку бесплатно — в пользу бедноты.

— Та я же жертвую, не имеете права не взять.

Кругом стояли пришедшие за хлебом бедняки, среди них начинался говор. Прасоловская щедрость понравилась. Бойкая бабенка, видимо, хотевшая сейчас же воспользоваться от кулацких щедрот, высказалась вполголоса:

— А чего не взять и не раздать бедным, которым жрать нечего?

Накануне была почти такая же история. Комиссия Петрова обнаружила у кулака Пилипенко запанную в землю пшеницу. Наружный слой зерна уже начал преть. Пилипенко — горластый и наглый старик — матюкнулся, грохнул шапкой о землю, наложил двенадцать чувалов и повез на ссыпку. Сидя

на возу, он раскланивался с каждым встречным и приглашал на ссыпку — получать зерно, которое он решил пожертвовать всем желающим.

— Идти скорейше, шоб проклятый ККОВ сам все не забрав.

На ссыпку приперлось человек пятьдесят. Разъяснить им кулацкую провокацию пришлось нелегко.

Арестованные и посаженные в карцер при стансовете кулаки взмутили тыждневых, которые начали посматривать косо и отказывались итти понятыми на обыски в поисках хлеба у кулаков.

Семен Прасол подозвал к двери карцера председателя ККОВ'а.

— Товарищ Горлопан, идить сюды.

— Шо тебе?

— Я хочу вам молотилку отдать.

Горлопан выпучил на него глаза.

— Та свою молотилку. Одна морока. Кулаком считают, а який я кулак. Вы же сами знаете. Ей-богу возьмите мою молотилку в ККОВ.

У Горлопана в груди захолонуло от радости:

— Не брешешь?

— Крест святой. Да вы возьмите заявление, ось я написав. Берить, берить ее. Тильки похлопочите, шоб мене отпустили...

Вслед за ним второй благодетель нашелся — Корниенко, тоже владелец паровой машины. Я спросил его:

— Почему же ты решил отдать молотилку?

— Та ни к чему вона. Урожай плохой. Налог за нее теперь увеличат, а я еще должен за нее две тысячи, никак не могу собрать.

— Как же ты передашь бесплатно? А долг-то?

— Та я ж тогда не буду платить...

Мы отпали под суд четырех кулаков — по 107 статье — за злостное укрывательство хлеба. По станице стали говорить, что казаков будут с Кубани выселять в Сибирь.

Ни одного кулацкого агитатора мы еще не поймали — были они всюду вокруг нас и были неуловимы.

Враг играл в гигантские прятки, кулаки разрывали партизанскую борьбу.

КТО КОГО

Мы посчитали, сколько народа участвует в хлебозаготовительной работе.

Работала почти вся комячейка (в ячейке было двадцать семь человек), человек двадцать комсомольцев, около полсотни служащих. Подлинных хлеборобов из бедняков и середняков было на этой работе не больше пяти десятков, считая сюда и тех, которые помогали нам сообщениями об укрывателях хлеба.

Нас было сотни полторы, а населения в станице — одиннадцать тысяч человек.

— Если мы не перетянем бедноту с середняком, то кулак его перетянет. Кулацкий агитатор не спит,—

твердили мы с Хановым ребятам, метались — то проверяя работу закупочных комиссий, то выступая на собраниях.

Совсем плохо было вначале с работой среди женщин. Гашка Кувика, сама плохо разобравшаяся в сути всех событий, растерялась и слегла в постель: у нее была малярия. Вечером я зашел к ней. Живет она вдвоем с подругой в ковском доме: у отца, маломощного середняка, семья — одиннадцать душ, мал-мала меньше, и Гашка давным-давно была вытолкнута нуждой батрачить.

Комната — крошечная: стол, стул, кровать, — еле повернешься. Все пожитки подруг умещались в небольшой корзине, на подоконнике лежала кучка учебников — Гашка готовилась на рабфак.

Она засуетилась, вскочила с кровати — пожелтевшая, с кругами под глазами, и все же сильная и тугая.

— Давайте, товарищи, чай пить. Сейчас мы самовар достанем.

Когда я отворачивался, она подавала отчаянные знаки подруге Поле, сторожихе и уборщице одной из школ. Беззвучно шептала что-то выпяченными полными губами, махала рукой. Я невольно рассмеялся, совсем сконфузив подруг.

— Ничего я не хочу, не беспокойтесь.

Хозяйки обрадовались — угощать им было нечем, позднее они сами сказали, что неделю уже сидят на одном хлебе.

— Ну, Гаша, как же нам женщин расшевелить?

Гашка поправляет прическу, подняв обе руки, — сильный стан ее напрягается, волнуется.

— Делегатки у нас активные. Надо делегаток собрать, а потом общее женское собрание созовем.

— Кто же эти активные?

— Гринченко, Якуба, Стрешнева — из совета уборщица... Кто же еще-то? Да, Петренко, сторожиха из иногородней школы.

— Больше нет?

— Остальные такие активные: на собрание, пожалуй, придут, а работать — ни за что не будут...

На собрание в Восточной школе, — на окраине станицы, пришло человек шестьдесят, многие с грудными и малыми ребятами; ребята поднимали плач и визг, в классе было нестерпимо жарко — по телу катился крупный изнуряющий пот.

Женщины одобрительно задвигались, когда им сказали, что их созвали для решения важнейшего станичного вопроса: обращение понравилось.

После доклада не было ни вопросов, ни желающих выступить. Доклад слушали плохо, переглядывались и перешептывались между собой, унимая оравших, капризничавших ребятешек.

Начинаю беседу:

— Как вы думаете, есть хлеб в станице?

Молчат.

— Вот вы, что вы скажете? — прямо спрашиваю одну пожилую женщину. Та багрово краснеет, закрывается концом головного платка.

— Мабуть, у кого и есть, у меня немає.

— Но ведь вы знаете, у кого есть?

— Виткиля я знаю? В вимбарах я не була.

— Позвольте сказать, — говорит с задней скамьи крупная, полная женщина с быстрыми карими глазами; голос у нее высокий и чуть визгливый. Не дожидаясь ответа председателя, она продолжает: Несправедливо это: к хлеборобам идут, а к служащим нет. Надо всех служащих обыскать, у них хлеба черви не поедают, а у нас последнее берут.

— Как последнее берут?

— По всей станице говорят.

— А у вас взяли силком? У кого последнее взяли?

Женщина чуть смутилась и вдруг обозлилась:

— Чего вы мне — у кого, у кого? У mine дома десять пудов на двенадцать душ, покупать надо, — купить негде, а у служащих...

— Да у кого из служащих?

— У всех.

Гашка шепчет мне, что Катерина Матусенко — вдова, середнячка, отец ее крупнейший кулак. Собрание слушает нашу перепалку внимательно, явно сочувствуя горластой Катерине.

— Вы скажите, у кого из служащих есть хлеб, мы сейчас же проверим.

— Надо скризь всих обыскать и квити, а потом не ходить по-под заборами, собак не тревожить... Комиссия ко мне уже три раза заходила.

Не новое предложение: кулак Прасол говорил тоже самое...

— Правильно! — поддерживают Катерину женщины.

Спорить с ней дальше бесполезно и опасно: симпатии явно клонятся на ее сторону, собранию любя персектива: хлеб спрятать, обыски пропустить, больше — никаких хлопот.

А кулакам это совсем на-руку. Я отыскиваю хороший ход:

— Хорошо, гражданки. Матусенко верно говорит, согласен. Давайте выберем ее уполномоченной, завтра пусть в совет придет, а там мы ей дадим понятых, — пусть она общет служащих — председателя совета секретаря, других.

— О це гарно. Давай выберем. — Веселый шум прошел по собранию.

— Я не хочу, не пойду я, — крикнула было Матусенко.

Куда там: на нее затюкали, зашикали, выбрали единогласно.

Собрание оживилось. Сообразившая в чем дело Гашка, посмеиваясь, шепнула мне, что теперь Матусенко — если не придет в совет, так ей срам на всю станицу, а придет — так потом ее докладчиком на собраниях надо выпустить, и она вынуждена будет говорить в нашу пользу, против кулаков.

Поставили на голосование резолюцию — чтобы женщины участвовали в хлебозаготовках.

— Та у нас же нема хлеба!

— Як же мы будемо робить, коли хлеба немає?

Раз'ясняем, что они могут помогать нам — сообщать, у кого хлеб, кто его вывозит в степь, кто прячет, могут работать, наконец, в закупочной комиссии.

За резолюцию было человек десять, остальные — ни туда, ни сюда.

Закупочные комиссии маялись по дворам.

Петров рассказал беседу с его приятелем из середняков.

— Видишь, товарищ Петров, у нас разговоры про-
меж себя все время идут. Подходит ко мне вечером Марухно, у которого маслобойный завод, и говорит: «Ты что дома?» — «А куда ж мне итти?» — «Тикай на степь, живи в курене. Хай им бис!» — Ну, я подумал: правда, что я с комиссиями буду ругаться, — ты ко мне три раза приходил, и еще придешь, — и собрался на степь. Хлеб у меня есть. Немного, а есть. Я бы тебе продал сразу двадцать пудов, а ты ведь через неделю опять придешь. Вот я тебе по пуду и продаю.

— Ты не слушай кулака. Ты думаешь, он о тебе заботится? — говорил Петров середняку: — У него своя думка. Сейчас, мол, хлеба не дам, а там и власть в свои руки от них отберем.

— Но-но-но! Тише, тише. Мы ему такую власть покажем. Об этом, браток, и думать нечего.

— Так помогай не кулаку, а государству.

— Да, если бы хлеба много было, а то ведь от себя отрываешь.

— Сам же сказал, что у тебя излишка двадцать пудов.

Середняк крикал, играл кончиком черкесского пояска с серебряным набором.

— Слушай, товарищ Петров, а может обойдется без моего хлеба? То ж у меня страховое.

— Смотри сам, если все так будут говорить да придерживать, — это же кулаку подмога.

Кряканье учащалось, хлебороб рассовывал кулаком густые сивые усы в обе стороны, становился к Петрову в поборота.

— Ладно, выведу, — вдруг говорил он с ожесточением и добавлял, как бы оправдываясь перед кем-то: — Крепко ты меня насчет кулака допек.

Факт этот нас очень обрадовал, было много сказано на собрании всяких хороших речей. Закупочным комиссиям мы дали строгий наказ — не осматривать амбаров, а действовать убеждением.

В эти дни спрятанного хлеба обнаружено не было, но на ссыпку поступало хлеба не меньше.

В комиссиях стало работать пять женщин — они добровольно вызвались после женского собрания.

Бойче всех была мать Якубы. Как-то я с ней разговаривался. Сухонькая и маленькая, Софья Иовна в своем стареньком выцветшем платишке была совсем незаметной, но карие глаза ее смотрели ясно и

молодо. Была она быстрая, подвижная, закупщикам не давала и вздохнуть за целый день, — совсем не верилось, что ей пятьдесят шесть лет.

— Ах, у меня история тяжела, великая, — сказала она, и лицо ее дрогнуло: — Осталась я в восемнадцатом году одна, с четырьмя маленькими и дочкой девятнадцати лет. Муж с двумя сынами в Красную армию пошел. Дочку с киператива зыкнули белые, она там приказчицей была, хотели снаильничать, да мы заховались. Я четыре месяца в бурьянах сидела. Дочку поймали на степу, а ночью кучкой... — так растолкли чисто!

«Тетка Софья — твою дочку опоганили», — кликнула мне соседка. Тогда я пошла до полковника, а сама я дочка казацкая. Полковник был хороший, добрый, велел дочку пустить. Як пришла она до дому — у нее коса упала, облизла...

По лицу Софьи Иовны не спеша шли слезы, она утирала их платком и говорила тихонько, с неизъяснимой мукой в этом тихом старческом голосе.

— Дочку я в Краснодар отпразила. Кажну ничь идуть до нас белые, мы и не ночували в хате. А потом я ее покликкала — хлиб убирать, я две десятины сняла по осени. Собрали мы пудов двести, помолотили. Цо сын мий у плин попал. Белые шукали в каждом поезде по вагонах, як поезд стане, они шукать своих станичников. Сына нашли больного. Привезли его, я узнала, побижала туда, кричу — все заберите, тильки не убивайте. А белые говорят — принеси

триста рублей серебром. Жили мы хорошо. Достала я деньги — позычила; отдала, сына привезла домой. Ничь наступила, а кругом белые стали и давай палить в окна, мы попрятались. Утром ходила жалиться к атаману, а там говорят: «Мы не знаем». На третью ничь, в четверг, убили и дочку старшу и сына. Палили, як на войне. У мене потом печь перекладали, так там пуль хто е знае скилько. Дочку убили в лоб — от сюды, а сына в грудь — от сюды. Я тогда богомольна была, понесла гроб в церковь — его выкинули. Тайком поховала дитей — дочку в четверг, а сына в пятницу. И хлеб у мене весь забрали, до зерна забрали... Сейчас говорить: «А, бисова душа, большевичка!» — Я не знала, что у меня хлеб заберут. Тильки и я зараз говорю кулакам: «А як вы у мене забирали?..»

Сейчас Софья Иовна сама ведет свое бедняцкое хозяйство.

Старший сын живет отдельно, своей семьей, второй — подросший хлопец, комсомолец, батрачит у кулака Бурзака.

— От подлая душа, — костерила Бурзака Софья Иовна, — замучил мое дите, ему всего семнадцать годов, а той проклятый бугай всю работу на него завалив. Прибежал сынок ко мне: «Мама, говорит, сил нет, кровью хожу...»

С Софьей Иовной живут младшие два — пионеры оба, сама она кандидатка партии.

— Я не грамотна, а их учу, хочу, щоб вони не свернулись.

Она привела в совет и еще добровольцев — работать по хлебозаготовкам.

Чаще стали поступать в совет записки, в которых сообщалось об укрывателях хлеба. Записки передавались работникам на улице, на ссыпке, — подававший озирался, совал записку в руки работнику и шел дальше, словно встреча была случайна, и он отнюдь ей не рад...

Но основная масса хлеборобов была еще неподвижной, ледяной глыбой — ручьи наших призывов и убеждений не могли ее размять.

Мы с Хановым ругали местных работников. Ядровский поглядывал на нас косо, но на лице его было словно написано:

«Хорошо вам распоряжаться. Пошумите, пошумите и уедете. Посидели бы в моей шкуре...»

Однажды он не утерпел.

— Думаете, легко народ поднять, а? Послушайте, что они говорят. На собрании раз старый казак напрямик сказал, до него как раз выступил один партизан, активный такой общественник, а старик вслед за ним и начал, и начал: «Ну, хорошо, — говорит, — пусть там Ханов скажет, Темнов. Завтра они здесь, а послезавтра их нет. Ну, а ты, Дуденко, ты ведь наш, с нами останешься. Ну, как ты выступаешь, раз народ не хочет?»

Ядровский снизил голос и продолжал шопотом:

— Потом этому самому Дуденко кулаки говорили: «Что ты делаешь, дурья голова? Ведь будешь просить помиловать, когда будем тебя первого вешать. Только вот придут наши. Увидишь тогда...»

В начале пятой майской пятидневки пошли дожди. Знойный восточный суховей упал еще вечером, утро и день были тихими и нестерпимо душными, на улицах в пыли не копались, как обычно, куры, а лежали, разворошив перья и разинув клювы. Дали улиц были подернуты дрожащей пеленой испарений. По Закубанью на глазах роились густые белые облака.

К вечеру от гор, за которыми Черное море, поднялась багровая, с коваными, червонного золота, краями туча, края эти скоро потускнели, ветер сбил их в яростные клубы и покатил над степью.

Дождь пошел по станице со свистом, хлестом ветвей деревьев. В крутых и стремительных вихрях по улицам летели солома, пыль, листья.

На другой день был обложной дождь, хлебоборобы сидели по хатам, на ссыпку хлеба никто не вез.

Темп заготовок сильно снизился. Закупочные комиссии стали работать хуже. Совсем плохо работала комиссия Кучерова, зампредправления ЕПО.

Встретился я с ним на ссыпке ЕПО, еще до слияния ссыпок ЕПО и с.-х. т-ва. Он лежал в тени деревца, огромный, рыжий, и смотрел денивыми серыми глазами, как из бака с керосином сам наливал в свою посуду потребитель.

— Сколько сегодня поступило на ссыпку?

— Пуда два-три, — спокойно ответил Кучеров, кусывая соломинку.

Ядровский говорил мне, что он казак, местный, был в Красной армии, кандидат партии и теперешний выдвиженец.

— Чего же вы его не пошлете на заготовки? Ведь он по своим родным и знакомым может хорошо заготовить.

Кучерова послали в участок председателем закупочной комиссии. На другой день он заявил, заготовил 10 пудов:

— Чего же я могу сделать, когда в станице хлеба нет?

Этот случай был сигналом, что и внутри нас есть разброд. Кучерова свирепо отругали, попутно и всем напомнили, что послабление в работе недопустимо, и за это будут строгие наказания.

Особенно же возмутило товарищей поведение Кучерова: это было в то время, когда к нам стали переходить пассивные середняки и бедняки, и он, местный, с большими родственными и дружественными связями, мог бы очень многое сделать.

ДИРЕКТИВЫ

Последний день четвертой пятидневки дал снижение на шестьдесят пудов. Из района пришла на другой день телеграмма. За преступную слабость работы

по хлебозаготовкам район снимал с работы и отдавал под суд предправления сельхозтоварищества Жадина, а Темнову и Ядровскому объявлял строгий выговор с предупреждением об исключении из партии и предании суду.

Ядровский обозлился. Сразу осунувшись и побледнев, он ругался:

— Что они — с ума посходили? Ну, Жадина-то верно, надо снять, он слабый, а нам за что вlepили?

Что мы — не работали? — Ночами не спим.

— Сами мы дураки! — сказал Темнов: надо было в те дни не сразу все показывать в сводках, а помаленьку прибавлять, тогда и снижения у нас не было бы. В Андреевской второй месяц тянут. Нашли в апреле пять тысяч пудов, а ставят каждый день по сотне. И никаких выговоров им нет.

— Это же обман!

— А что же — под шары себя подставлять?

— Заготавливать больше надо.

— Заготовишь с этим народом! — голос Ядровского стал холодным и жестким: — Довольно теперь. Меня жмут, — я смотреть в зубы тоже не буду. Под суд из-за людей итти? Ну, нет.

— Совершенно справедливо, товарищ Ядровский, — поспешно заговорил Темнов. — Я с тобой целиком и полностью согласен.

Обычно Ядровский был оживлен, любил пошутить. Везде и во всем он находил причины для смеха. Завидев издалека Ярина, его белые выглажен-

ные брючки и шляпу-тирольку, Ядровский говорил:

— Чудак этот Ярин, ха-ха! На собрании раз кричит: ни черта вы не понимаете, деревянные головы. Эх, и обиделись тогда пайщики. Я уж объяснял им, объяснял, что это, мол, он говорит, что вы в деревне живете, по-деревенски думаете, по-станичному.

Сидя в парикмахерской, Ядровский вдруг вспоминал:

— Х-ха-ха! Парикмахер тут был, чудак, ха-ха-ха! Прихожу я к нему: «Здорово!» — «Здорово!» — «Брей». Он намазал меня и пошел. «Куда?» — говорю. — «Обедать». — «Как обедать? Ты добрей». — «Сейчас, — говорит, — пообедаю и добрей». Так и ушел, чортова голова.

— Ну, а ты что?

— Да так и сидел перед зеркалом, как дурак, больше часа...

В разговоре о полевых вредителях он громко смеялся, заглушая всех, и рассказывал:

— А я на квартире сразу всех крыс вывел. Сел ночью в кухне перед дырой, а сам наган держу, курок взвел. Крыса в дырку выглянет и назад. Постой, — думаю, я тебя пересижу. Только она осмелела, высунулась, ка-ак я бахну. Еще. Жена бросилась — что тут такое, ребятишки плачут. Скандал, мамоево побище, ха-ха-ха! С тех пор ни одной крысы.

Над запрещением чрезвычайных мер и перегибов он вместе с Бараненко посмеивался:

— Нельзя, так нельзя. Только, по-моему, — вальным сапогом бить можно. Насыпать его песком, да по шее, по шее. Следов никаких, а больно...

Репрессии района действовали на всех.

Председатель правления сельхозтоварищества Жадин — низенький толстяк с каким-то совершенно невыразительным оплывшим лицом — поймал меня на улице.

— Товарищ уполномоченный, вот вам заявление, — поспешно бормотал он, растерянный и неловкий.

В длиннейшем заявлении он пытался оправдаться, отрицал свою бездеятельность, хотя она всем была очевидна. В товариществе он бывал изредка, а больше сидел у себя в новом собственном доме, предоставляя всему делу идти самому по себе, и если бы не Петров, отдающийся работе целиком, с товариществом было бы плохо.

Услышав, что ячейка и уполномоченные согласны на его снятие и отдачу под суд, Жадин обиделся:

— Я ведь, дорогие товарищи, работаю 6 лет и 4 месяца. И неизбежно всегда проводился бюро ячейки и ячейкой, так что снятие меня именно теперь мне совершенно непонятно.

Работники нервничали. Предправления ЕПО Ярин волновался больше всех. Его комиссии почти не закупали хлеба. Магазин с отделениями торговал в

день рублей на триста, в прошлые же годы ЕПО торговало в день на тысячи рублей в это время.

Вальяновское ЕПО — одно из первых во всем округе, пайщиков у ЕПО три тысячи двести человек — это на две тысячи двести дворов станицы с куторами. Собственных средств около трехсот тысяч, паевого капитала одного двадцать пять тысяч рублей. ЕПО выстроило электрическую станцию, кино-театр, осветило часть станичных улиц, ведет большую культурно-просветительную работу. Теперешние незадачи расстроили всех еповцев. Лицо Ярина осунулось, побледнело и все время дергалось, глаза набухли и покраснели. Он ругался со всеми.

— Под суд вас отдать, деревянные головы! — кричал он на сотрудников.

Дорогой с собрания в участке он говорил мне:

— Полтора года я здесь. Устал, больше не могу. Я ведь нервами живу. На фронте был всю войну, председателем ЧК был, всего видал, а здесь тяжелее всего.

То он говорил, что хлеба мы все равно не заготовим, — его в станице уже нет, то порол несуразное:

— Знаешь, что? — Нажимать надо покрепче. Хлеба по станице целые вагоны. Судить надо. Сажать. Дела нет — искусственно создать надо. Какого чорта!

А из района сыпались бумаги, предлагалось усилить работу, во что бы то ни стало выполнить план,

качать беспощадно за слабую работу. Район передавал директивы округа, писал свои.

На автомобилях пролетали, вздымая тугие бугры пыли, работники окружных организаций, ругали нас, грозили крутой расправой. Мы чувствовали себя виновными — майский план заготовок явно срывался, мы не дотянули за четыре пятидневки и до десятка процентов задания.

Ханов в тяжелом раздумьи как-то на заседании бюро ячейки сказал:

— А этих полутора десятков вагонов, которые мы не собрали, где-нибудь на Волховстрое давным-давно ждут.

Слова эти задели всех. Словно рябь от ветра по реке, по лицам прошла тревога...

Случайно я прочел письмо секретаря окружного парткома — райкомом. Письмо это поразило меня и содержанием и стилем. Секретарь писал:

«Дело по хлебозаготовкам по вашему району идет безобразно! Из рук вон плохо! Омерзительно вяло! Халатность граничит с злостным саботажем. Районные работники выезжают на места мало. Уполномоченные энергии не проявляют...»

В сердце мое стукнул холодок.

...«Наиболее ударные пункты остаются без внимания. Много всякой болтовни. Много трусливости или бездушного скептицизма. Много говорят о методах. В зубах навязли эти методы. Всем они известны. Проверены на опыте. Нужна лишь настойчивость, упорство и энергия. Нужна воля. Понимаете — воля!»

Слова эти запомнились, потом вошли как-то в разговор, не замечая этого, я часто стал говорить:

— Нужна воля! Понимаете — воля!

А секретарь писал — дальше — пуще:

«Говорят, что удары да перегибы пугают. Это ложный лицемерный разговор слюняев. Ведь судили и будут судить только за случаи избиений, рукоприкладства. По физиономии бить нельзя — ведь это не значит, что никак иначе (не грубым физическим способом) нельзя нажимать»...

Получалось так, что все можно делать с кулаком, только бить его по морде нельзя. Разумеется, об этой «директиве» в станице я не говорил никому.

Письмо секретаря заканчивалось угрозой:

«Сейчас стоит вопрос с небывалой резкостью: или перелом в хлебозаготовках, или полный провал.

Если перелом, то коренной, с выполнением плана. Если провал, — то окончательный, с непоправимыми последствиями, вплоть до массового исключения из партии».

Апрельский пленум ЦК говорил противоположное этому письму, но хлеб шел плохо, редкими пудиками, в станице был бой с кулаком — не лицом к лицу, а всяческими ухищрениями, в памяти вставали голодные дни гражданской войны на севере, самого себя приходилось сдерживать, чтобы не перегнуть.

Предрика Миронов прислал замечательный материал по советской линии. Предлагалось — в дополнение и развитие ранее данных директив — усилить борьбу с укрывательством хлеба.

Циркуляр разъяснял, что укрывательством хлеба считается: а) прятание хлеба в ямы, полову и т. д.,

б) вывоз его в степь, в) наконец — дача неверных сведений о наличии хлеба совету или закупочным комиссиям, если в их составе есть члены совета.

Бараненко, получивший эту директиву, приуныл, вытащил другую, полученную раньше, в которой категорически запрещались обыски в поисках хлеба и всяческие перегибы.

— Кого же теперь слушать, чорт его знает!

Темнов смеялся над сомнениями милиционера:

— Что ты голову себе морочишь? Ведь это же прекрасная директива. Никак нельзя с ней не согласиться. Сейчас мы можем сильнее нажать.

В этот же день Темнов вызвал к себе человек двадцать кулаков — владельцев паровых молотилок.

Распластавшись за своим огромным столом, Темнов, потряхивая чубом, орал на вызванного:

— Гр-ражданин Дзюба, продадите вы хлеб?

— Нема хлиба! — Дзюба разводит руками, в серых настороженных глазах — вражда. И весь он — старый и сухой, обтянутый вытертым засаленным чекменем — словно налит ненавистью.

— У вас паровая молотилка, вы заработали много зерна.

— Та я ж его зимой ще вывез.

Темнов отбрасывается на спинку кресла, кресло неожиданно громко скрипит. Дзюба вздрагивает.

— Чорт возьми, — кричит Темнов, грозя указательным пальцем: — У вас отсутствие всяческого

человеческого взгляда, совести, нравов. Я вас последний раз спрашиваю: продадите или нет?

— Нема хлеба, шо ж я продам?

— Сколько у вас хлеба?

— Пудив, мабуть, тридцать.

— Ну вот что, Дзюба; подпишите, что у вас только тридцать пудов, и что больше вы нигде не спрятали.

— Як же я пидпишусь, а там буде пудив, мабуть, на пять бильше.

— Пиши приблизительно.

Дзюба долго кряхтит, потом все-таки подписывает, утирая мокрый запотевший лоб.

Только три кулака из двадцати заявили, что они продадут пудов по пяти, — остальные с криком, с препирательствами подписали расписки.

Заседание бюро ячейки было в этот вечер торопливое — перед собранием бедноты.

Доклады закупочных комиссий были коротки и печальны, — участки обойдены, закуплено полторы сотни пудов. Комиссия Кучерова закупила восемь пудов. Горлопан сообщил, что фонд местного снабжения исчерпан.

Стемнело, за окнами шуршали дождь и ветер, в стекла царапались ветви сирени из палисадника, и от этого усиливалась тревожная суета.

Я внес предложение — обыскать кулаков, которых вызывал и опрашивал Темнов, и забрать у них излишки на ссыпку.

— Нельзя не согласиться, — обрадованно затараторил Темнов: — прямая директива рика предлагает этот метод.

— Даешь, душа с них вон! — с суровым оживлением поддержал Темнова старший милиционер Бараненко.

Операцию поручили произвести Темнову, Бараненко и Ярину при помощи тыждневых.

Через полчаса со двора стансовета вылетела экспедиция. Машинист Буланов, только что подошедший, спросил у Ярина:

— Куда это вы?

— Не на жизнь, а на смерть! — крикнул Ярин на ходу. Из под колес тачанки брызнула грязь, издалека уже донеслось звонкое яринское:

— Крой!

Собрание бедноты было в том же театральном зале, но сейчас он был почти полон. Ядровскому сразу была подана записка: «В зале есть кулаки». Он сказал, чтобы неприглашенные покинули собрание. Поднялось четыре кулака.

— А мы думали — всем надо итти. Слышим — загадывают на собрание, мы и пишлы, — оправдывался Луценко, владелец двух паровых машин, проталкиваясь к выходу.

Языки бедноты на этот раз развязались.

— Коли мы будемо высказываться, так кулаки нас попалят.

— Оце верно!

— Попалят!

На скамьях дружно зашумели.

К столу вышла Стрешнева, уборщица совета:

— А я так, граждане, скажу. Податься нам некуды. До кулака пойдем — он пять рублей за пуд просит. Одна наша дорога — через ККОВ. Взять надо у кулаков. Если нам сдыхать — нехай он вперед сдохнет!

Стрешнева пошла назад, широко повела рукой:

— А вам, мужикам, нечего смотреть. Зовут вас, добром просят. Дружно надо взяться!

Ядровскому принесли бумажки, он прочитал, сунул мне.

«Выписка из протокола № 21 заседания бюро ячейки станицы Вальяновской.

Слушали: об изъятии хлеба у кулаков. Постановили: согласиться с предложением уполномоченного крайкома изъять немедленно весь хлеб у кулаков, возложив проведение операции персонально на Темнова, Бараненко и Яковлева».

— Откуда это? — спросил я Ядровского.

— Темнов прислал. Загородиться хочет, стервец.

На сердце у меня — жар досады. Это была первая большая тень в отношениях со станичными ребятами. Усилием воли заставил себя слушать прения, а из головы не выходила эта выписка.

В прениях говорили, что кулаки пугают, говорят, что хлеб весь из станицы вывезут, и беднота сама же будет пухнуть с голоду.

Разъяснять провокацию кулака пришлось опять и опять. К концу собрания стало веселее, мне и Ядровскому прислали по несколько записок. Казак Матвиенко Даниил Исаакович сообщил, что он

«возвращаясь домой и по пути зашел у лавку купить кое-чего по выходе из лавки меня стрел г-нин Герко Тихон Емельянович с своей женой в нетрезвом виде и Герко начал ругаться и потом обратился до меня и сказал: до каких пор они будут все забирать я пробовал объяснить ему значение хлебозаготовки в это время вышел из лавки приказчик лавки ова-плей Евстратов Николай Кузмич и пришел г-нин Плакса Алексей Ивано, а гр-нин Герко все горячился и приставал до мене скажи чего они до меня в амбар ходили, зачем они у меня хлеб брали и все ругался и кричал, они мне не сыпали и зажимая кулаки доменя я вижу что он бросится я ушел скорее Прошу сделать дознание и направить по принадлежности».

В совете мы сгрудились в комнатке милиции. Бараненко сидел взволнованный; на нем скрипели снаряжения, ремни, кобура нагана была отстегнута. Младший милиционер Шияневский, в мокрой и грязной шинели, рассказывал быстро, быстро. Из рта у него от усердия вылетали капельки слюны.

— Ка-ак она меня толкнет, а я через колоду, прямо в грязь. Эх, товарищ уполномоченный, и здорово я трахнулся...

— Да что такое, где?

— У Троценко. Целая баталія!

Бараненко поднял руку в сторону Шияневского — замолчи, мол, — сдержанно и сухо рассказал, что когда они пришли к кулаку Троценко, там поднялся крик, гам. Мужики встали у дверей амбара, и их пришлось оттеснить — грудь в грудь. Ключ от амбара уцепила старуха, Шияневский стал вырывать, она его толкнула, тот упал через колоду, а сама старуха выскочила на улицу, завопила:

— Православные, ратуйте! Грабят...

К двору стал сбегаться народ. Выручил Темнов. Верхом на коне заскочил он во двор.

— Что такое? Контрреволюция! Марш по домам. Расстреляю.

Хлеба обнаружили пудов сорок. Кулак показал, что у него всего пятнадцать пудов. Амбар опечатали.

Дальше экспедиция не пошла и вернулась в совет. Все они, видимо, перетрусил. Темнов и решил обезопасить себя на всякий случай выпиской из протокола.

И Темнов и Бараненко посматривали на меня враждебно. Протоколы дознаний писались до утра. На рассвете Троценко и двух раньше арестованных кулаков отправили в народный суд, в район.

В протоколе Троценко стояло:

...«При обыске у него излишков хлеба он сильно жестиковал руками... а потому вышеупомянутый Троценко, кулак, злостный укрыватель хлеба, подлежит преданию суду».

Через день из района пришла новая телеграмма:

«Все меры репрессий работникам слабость работы хлебо-заготовкам исчерпаны дальнейшем падении заготовок будут исключения партии предание суду...»

СОВЕЩАНИЕ

Совсем неожиданно пришла телеграмма — меня вызывал окружной партийный комитет. Мне показалось, что отзывают совсем, — в крае ждала большая работа, которую пришлось оставить, скрепя сердце. Первые дни в станице думалось, что сорвали меня с работы там, в крае, напрасно, потом — втянулся в станичные дела, их было чрезвычайно много, и вот сейчас оставлять станицу стало жалко, жалко было оставлять незаконченные дела, да еще там, где свое присутствие и работу ощущал такими нужными...

До часу ночи мы беседовали с товарищами. Бараненко был доволен моим отъездом, пытался сделать постное лицо, но это у него никак не выходило. Другие товарищи искренно сожалели. Ханов на прощанье сказал взволнованно и ласково:

— Вали, работай, учись там. А мы тут будем держать дело.

До окружного города поезд шел на ранней зорьке. На равнине из сизого сумрака выступали купы деревьев, темнели курени. Далеко на юге, сквозь заволок облаков, прорывались горные кряжи, солнце

достало до них, и в необъятной синеве они розовели. В городе было необычное. Около пекарен стояли очереди. Окружная газета разъясняла, что очереди — результат провокационных слухов, что хлебом город обеспечен с избытком. Это было, разумеется, верно, и тут невольно думалось, что вопрос «кто кого» — стоит остро не только в станице.

В окружном и в окрисполкоме чувствовалось напряжение. Добрая половина работников была на хлебозаготовках, оставшиеся — измотались.

В округ вызвали уполномоченных края из всех районов — на совещание с секретарем краевого комитета партии. Это было небывалым событием в работе местных организаций. Но Кубань заготовила всего 150 тысяч пудов хлеба из полутора миллионов задания, а в некоторых районах настроение населения накалилось...

Соседний с нашим районом — Усть-Лабинский район заготавливал в день пудов по пятьсот, а в районе около двадцати станиц и хуторов.

В рапорте Усть-Лабинского адмотдела сообщалось:

«Вчера уполномоченный и секретарь комячейки зашли после собрания к кулаку поужинать. В это время дом окружила толпа женщин, вооруженных палками: они выбивали окна и дверь. Но уполномоченные, не входя с ними в переговоры, удалились через задний выход...»

До совещания у меня была беседа с секретарем нашего райкома т. Боковым. Он был очень взволнован. Несколько дней тому назад по району про-

ехал на автомобиле особоуполномоченный края. Он был в трех станицах, побеседовал на ходу с хлеборобами, с работниками и умчался. Вслед пришло указание из крайкома — проверить факты, о которых сообщил уполномоченный. Он писал, что середняка приравняли к кулаку, вызывают его в совет вместе с кулаком, заставляют, как и кулака, вывозить хлеб (только количество хлеба — поменьше), а настроение работников — гнилое, скверное.

Боков обижался:

— Он с нами выводов не согласовал. Проскочил на своей машине и все.

Это было верно, но и факты, сообщенные в крайком, были также верны. Боков волновался и поговаривал о том, что его теперь снимут с работы.

Совещание было в этот же день. Уполномоченные делали доклады о положении на местах. В других районах было хуже, чем в нашем, — наш был на первом месте по всем кампаниям.

По всему округу шла обостренная классовая борьба, борьба за каждый пуд хлеба. Кулачество развернуло бешеную работу, чтобы не выпустить из станиц хлеб. В станице Уманской кулак высыпал сто пудов пшеницы в колодезь, в воду. Сосед его запрягал добрую сотню пудов зерна в навоз, оно там попрело. Кулачье вывозило хлеб в степь и прятало его в ямы, а там зерно гнивало.

На хуторе Диноевском кулак Плисенко провел собрание бедноты... Устроил поминки, пригласил

бедноту и обработал ее. И беднота высказалась против хлебозаготовок на общехуторском собрании.

В станице Усть-Лабинской кулаки создавали искусственные очереди за хлебом, открыто проповедывали:

— Бей пекарню и забирай хлеб.

В хуторе Александровском группа женщин, под руководством торговли Лупановой, жены белого палача, задержала фуры, перевозившие муку с мельницы; эту муку роздали по 20 фунтов на едока.

На хуторе Агапино кулаки открыто собрались во дворе у кулака Хмелевского — в это же время шло общехуторское собрание.

Кулачье распространяло самые нелепые слухи.

Говорили, что один старик шел раз ночью около церкви и вдруг услышал плач у алтаря. Испуганный, он подошел к окну и увидел богородицу, которая рыдала и умоляла своего сына не карать кубанцев пятилетним неурожаем, а только трехлетним.

По станицам ходило письмо. В начале сообщалось, что это «святое письмо божеское божьей матери во имя отца и сына и святого духа...

Письмо это переходило много людей и должно обойти весь мир...»

Дальше рекомендовалось бросать работу в субботу — по вечернему звону, в воскресенье не работать, а ходить в храм, не ругаться черным словом. Отступникам предстояло наказание голодом, громом, ветром и пеплом:

«Пойдет народ на народ. Сделается между всеми кровопролитие великое. Кто этому не поверит, тот будет проклят вовеки, а кто будет переписывать и читать это письмо, хотя и грешный, а получит прощение грехов. Кто переписшет, тот обязательно должен передать в девять дворов. Аминь, аминь, аминь».

В двух-трех станицах прозвучали уже выстрелы из кулацких бандитских обреза.

А что же делали наши организации, наши работники?

Хлебозаготовки заставили каждого показать свое истинное лицо, раскрыть свою сокровенную сущность. Хлебозаготовки были генеральной проверкой всей нашей работы в станице, проверкой всех наших работников.

Оказывалось, что у нас невероятное количество слабых мест. Хромала массовая работа; работа с беднотой по всему округу была очень слабой.

То, что было в Вальяновской,— было во всем округе — ошибок и промахов было очень много. Все наши промахи и ошибки использовались врагом.

Я сказал секретарю крайкома о том, что некоторые кулаки по самообложению почти и не затронуты. Спросил — нельзя ли их дообложить? Он меня обругал. В самом деле — это была явная ошибка наша — с дополнительным самообложением!

Ошибки были и у других уполномоченных. В Тихорецком районе уполномоченный допустил к работе какого-то представителя Кожсиндиката. Этот пред-

ставитель обошел всех кустарей, отобрал у них кожу, запер ее и уехал. Невозможно было разобрать, чьи это кожи.

Один уполномоченный, работник красной печати, выступил так:

— У нас в районе хлеб у кулаков взят на девяносто процентов, и во всяком случае не меньше, чем на три четверти.

— Может быть больше? — спросил его секретарь крайкома.

— Может быть и больше.

— Может, девяносто девять процентов взято?

— Может быть и так, — серьезно ответил уполномоченный.

— М-может быть, все может быть! — с сердцем сказал секретарь. Сидел он беспокойно, оглядываясь, нервно записывая в книжечку и низко склонив усталое желтое лицо.

Уполномоченный продолжал:

— Основной держатель хлеба сейчас середняк. Но он сам не дает хлеба, и нужно, товарищи, помоему, переменить нашу практическую политику в отношении середняка.

Кое-кто сочувственно кивал головой при этом...

О другом уполномоченном, не присутствовавшем на совещании, было сказано, что он развеял ужасающую отчетность — ведомости, списки, таблицы — целый день занят своей канцелярией.

Все выступавшие на совещании говорили, что хлеб в станицах есть, надо лишь нажать покрепче. В присутствии краевых работников я спросил старого своего товарища, работавшего на Кубани и сейчас уполномоченного по Усть-Лабе:

— Да есть ли в самом деле у вас хлеб-то?

Тот показал глазами на стоявших рядом и промолчал. Потом он сказал:

— Как это ты спрашиваешь? Да попробуй-ка скажи я, что хлеба нет. Вот тебе и уклон, неверие, пессимизм!

А в Усть-Лабинском районе на самом деле хлеба уже не было, но об этом ни один из десятка уполномоченных не посмел сказать, и все они сидели там, проежая свои командировочные.

В прениях неожиданно выяснилось, что из сумм от самообложения по всему округу восемьдесят процентов берется на постройку мясохладобойни и сахарного завода.

Все приехавшие с мест с негодованием обрушились на окружное руководство. Постановление округа целиком противоречило директивам правительства, директивам партии. А станицы гудели о том, что самообложение — это обман... Злейший враг советов был бы доволен, если бы ему удалось сделать то, что сделал сам округ!..

— Вы не понимаете кубанских условий, всей специфичности нашего округа! — защищался секретарь окружкома.

Он председательствовал, стоя за столом и ничем не выказывая своего волнения. Среднего роста, начавший полнеть, он холодно поглядывал вокруг серыми маленькими глазами, глубоко запавшими под крышей большого широкого лба, придавившей красное личико.

— Товарищи не представляют, сколь необходимо на Кубани немедленно развернуть промышленность, длинный ряд политических и экономических соображений заставил нас сознательно пойти против директив о самообложении.

Заявление это отчетливо говорило о том, что чуткости, точного учета всех последствий этаких своих мероприятий окружные руководители просто не имели.

По вопросу о мерах усиления хлебозаготовок секретарь окружкома говорил:

— Я сидел вот как-то темной ночью в мрачном одиночестве и думал: что бы это еще сделать, чтобы усилить хлебозаготовки. Монопольно на соль, что ли, установить? Попримать керосин, спички? Может быть, эти меры воздействия дадут результат. меры, так сказать, административного жанра!

Один из уполномоченных отдал директиву окружной хлебной тройки — в «административном жанре».

«В силу возмутительной халатности соответствующего аппарата райком до сего времени не принял необходимых репрессивных мер по отношению к халатности в связи

с его сопротивлением хлебозаготовкам (прятанье хлеба, спекуляция, взвинчиванье цен и т. д.) и меры нажима на кулака (индивидуальный вызов). Дальнейшее промедление этих мер абсолютно нетерпимо.

Окружная тройка по хлебозаготовкам категорически предлагает:

1) Немедленно произвести аресты всех кулаков, подозреваемых в прятаньи хлеба, в спекулятивном взвинчиваньи цен, с немедленной передачей арестованных под суд...

Директива эта была дана 13 мая. Хорошо, что она не дошла до станиц нашего района.

Речи секретаря крайкома ждали в знойной тишине.

Невысокий и невидный, он долго протирал платком очки, потом утверждал их, не спеша, на огромном веснушчатом носу.

— Товарищи, я прочту вам никем еще не отмеченную резолюцию апрельского пленума ЦК, — начал он тихим, как будто даже спокойным голосом. — Вот что говорится в этой резолюции:

— «Извращения и перегибы, допущенные местами со стороны партийных и советских органов, подлежат самой категорической отмене, и партия обязана объявить им самую решительную борьбу, ибо они грозят дать длительный как экономический, так и политический результат.

Сюда относятся все методы, которые, ударяя не только по кулаку, но и по середняку, фактически являются spol-занием на рельсы продразверстки, а именно: конфискация хлебных излишков (без всякого судебного применения 107-й статьи); запрещение внутридеревенской купли-продажи хлеба или запрещение «вольного» хлебного рынка вообще; обыски в целях «выявления» излишков; загради-

тельные отряды; принудительное распределение облигаций крестьянского займа при расчетах за хлеб и при продаже дефицитных товаров крестьянству; денежные выдачи по почтовым переводам, когда часть посылок выдается облигациями займа или другими бумагами; административный нажим по отношению к середняку; ведение прямого продуктообмена и т. д. и т. п.

Объединенный пленум ЦК и ЦКК самым категорическим образом заявляет, что такого рода извращения партийной линии не имеют ничего общего ни с партийным курсом вообще, ни с теми экстраординарными мероприятиями, которые ЦК проводил в жизнь в связи с особыми трудностями, обнаружившимися во время текущей хлебозаготовительной кампании. Объединенный пленум ЦК и ЦКК требует беспощадной борьбы с такими методами и немедленной ликвидации подобных перегибов и извращений, ибо они нарушают основы экономической политики партии, угрожают экономической связи между городом и деревней, подрывают систему кредита и грозят ослаблением союза рабочего класса и основных масс середняцкого крестьянства».

— Ну, что может быть конкретнее этой резолюции? По своей практичности резолюция эта любому райкому сделает честь. У нас в округах более общие резолюции принимают; тут спорить совершенно нечего. ... Спорить было нечего. Совещание подавленно молчало.

«... Эти мероприятия дают длительный политический и экономический результат...»

Вспомнились вызовы в совет середняков вместе с кулаками, осмотры амбаров.

Секретарь крайкома также тихо продолжал:

— А что мы имеем по округу? Почему чрезвычайные меры вы поняли как нажим административный, а не как чрезвычайное усиление массовой работы?— Вы шли по линии наименьшего сопротивления, докатились до административного садизма!

Я чувствовал глубокий стыд и тревогу, от которых физически болело сердце. Сказанное секретарем крайкома каждому было известно, а вот — в работе оно как-то ушло в тень, потускнело, забылось. И сколько же наделано ошибок, перегибов, которые надо исправлять сейчас!

Совещание вынесло решение, обязывающее прекратить практику административного произвола, практику нажима на середняка.

Но совещание же сказала, что хлебозаготовки надо усилить.

Новыми способами. Мобилизовав всю станичную общественность. Развернув массовую работу!

После совещания некоторые работники говорили потихоньку, между собой:

— Все это, конечно, хорошо. Только хлеба не будет.

— Надо оставить хоть маленькую возможность нажима на середняка. Без этого ничего не выйдет!— прямо говорил мне секретарь райкома Боков. Он уже успокоился. Снимать его никто и не собирался, а работы и решения совещания исчерпывали его вопрос по существу.

П Е Р Е Л О М

В КУБИКИ И УЧАСТКИ

Через день после совещания я был снова в Вальяновской. Дорога к Вальяновской идет через юрты станиц Пашковской и Старокорсунской. Простучав по станционным стрелкам, дрезина с глухим и солидным воем набрала скорость. Долго тянулись сады пригорода.

— Когда же кончится город? — не утерпел я.

— Он давно уже кончился. Это Пашковские земли.

Я поразился. Если Вальяновская степь была в зелени акаций возле куреней, то Пашковскую землю нельзя и степью-то считать. Это какой-то сплошной сад. На каждой почти десятина густая купа деревьев с темной плотной листвой, в которой еле видны курени. Деревья тянутся иногда и вдоль межи.

Хлеба у пашковцев очень хороши. Озимая пшеница выгнала могучий колос, под тяжестью которого стебель вздрагивает и ходит в стороны даже в безветрие.

— Пудов за сто с десятины получится, — говорят спутники.

— Пашковцы умеют обрабатывать землю. В таких садах разве вымерзнет пшеница? Тут никакой ветер не сдерет снег. Под снегом-то зерну — теплынь. А у старокорсунцев и вальяновцев ветры землю посдирали, не только снег.

Со всех сторон заходили, клубились отары туч. Из-за Закубанья шла гроза, с вспышками молний и глухим гулом.

Ветер усилился, подминая хлеба, наваливаясь на мотающиеся деревья. Около Вальяновской ударил град — без дождя, забивая ямки и колеи дороги. Были градины величиной в половину куриного яйца. Град пошел серой сплошной полосой на север, выбивая в хлебах широкую дорогу.

Вечером хозяйка общественной квартиры Марья Степановна рассказывала:

— Мои были на степу, а град как ударит, ударит. Скризь потолок. Невестка прибегла домой — за семь верст. Лица нет, плачет. Страшно, говорит, что теперь робить, что теперь робить. Весной пересеяли озимое,—все повымерзло, теперь опять надо пахать.

Говорила она совершенно спокойно, как рассказала после о том, что на базаре сегодня продавали привезенный из города печеный хлеб спекулянты; или о том, что они же, эти спекулянты, ходят тайком по дворам знакомых хлебобобов, покупают зерно и тайком ташут его в город.

И эти ее спокойствие и примиренность — возмущали. Как Марья Степановна — вся станица при-

миренно смотрела на вымерзание, на гибель хлебов. Вся деятельность хлеборобов становилась похожей на какую-то игру...

Град осложнял хлебозаготовки. Со станции я захал на ссыпку. Поступало не больше сотни пудов ежедневно. За пятую же пятидневку мы заготовили 973 пуда.

По станице пошли слухи, что в славянских лагерях терармейцы разбежались, что скоро будут брать по дворам одежду.

Около стансовета ко мне подошел комсомолец Вербов:

— Я к вам с политическим делом.

— Каким?

— В стенгазете было напечатано про Миронца. Помните, он заявил про кулака, который у него хлеб спрятал. Миронец очень недоволен, что про него напечатали. Мне, говорит, от этого только неприятности.

Сообщение прямо оглушило. Миронец Алексей— один из старых красных партизан станицы.

Я был у него вечером. Среднего роста, худой — точимый туберкулезом — Алексей Климович сидел под тутовым деревом, за круглым черкесским низким столом, такой мирный и чуточку беспомощный со своей впалой грудью. А вот что он рассказал о своем боевом прошлом (это подтверждают и свидетели).

— Летом это было, в восемнадцатом. В августе, да. Кукуруза здоровая была, кочаны. Я был во 2-й бата-

рее, 33 дивизии, под Гулькевичами. Кругом мы были окружены, на нас цепи уже пошли, и бронепоезд. Что делать? — Труба. Вдруг приказ — добровольцев шукать взорвать броневик. Одни пошли. Не вернулись. Опять приказ читают. Вот мне и захотелось пойти. «Пойдем, Федька». — «Нет, говорит, я в строю пойду». Я и пошел. Проводы были, речи сказали. Братва кричала кругом. Я стянул наган и пояс, взял стейер — застрелиться. Вызвали в штаб, там Морозов. Посмотрел. Говорит: «Выйди за дверь». И спрашивает там: «Он не казак?» Сомневался. Братва говорит: «Свой». Да. Взял я две шашки пироксилиновых, винтовку, две бомбы. Иду. А белая цепь наступает. Слышу — кричат: «Братцы, вперед». Иду днем — далеко видать. Я спустился в ложбинку. Лег в бурьян. Цепь близко совсем. Меня как затрусил. Чего делать? Автомат за патронташем. Застрелиться? Сам себе и говорю: чего я буду бояться, чего я буду бояться? Они идут, «святые боже» добре запели. У меня и тепло и светло, меня трусит — неужели не стерплю? Смотрю — цепь прошла, на бугор выходит. Я встал, а ноги аж валяются. Воды из фляжки напился. Вылез на гору — не видать ничего. А у нас уговор был: в случае моего взрыва, — ура, все силы напрягти. Слышу, на левом фланге перестрелка. Туда белая кавалерия идет густо. Часа два шли, а я все смотрел. А там бой хлобывает. Ну, я пропустил, на путь вышел, стволом песок начал рыть, под стык рельс. Шашку заложил, а сам — под другой стык. Руки не слушаются. Глянул,

тачанка подбегает, он держит ручной пулемет. Я на колено, луснул его в грудь — тряпки из спины вылетели. Кони подвернулись. Я к ним. Шапку где-то свою загубил. Подскочил. Ездовой руки вверх поднял. Я его убил. Слышу — гудит. Идет броневик. Тут я запалил пироксилин. Рельсы в обе стороны, как сани. Броневик их подмял и уперся. Я бегу. Бомбу сунул в вагон, где пулеметы, через бойницу. А там кричат: «Давай ход, давай ход». Я думаю — пойдет опять к нашим. А у меня еще одна бомба. Я ее под паровоз, а она назад катится, так и не лопнула. Тогда я в паровоз стрельнул — пуля стружку прочеркнула. Они стали выскакивать из ящиков, а я стою на колене и бью. Тут наша кавалерия набежала, начала рубать. Меня чуть не порубали. Прискакал сам Морозов, а я стою без шапки. Подняли меня на ура. Морозов говорит: «Надевай», дает генеральскую тулупку. Генерал этот первым из вагона вылез, я в него луснул, он прямо ко мне докатился. Да, нарядили меня генералом и прямо в штаб. Три дня меня все время тусило.

И это не единственный подвиг Миронца, проделавшего великий путь через астраханские пески с остатками 11-й армии.

Почему же сейчас он забеспокоился по поводу заметки? Какие-то новые — не от нас — думки у него появились. Надо разубеждать, разубеждать. Нужен толчок мозгам всем Миронцам, всем середнякам...

На собрании ячейки мы решили произвести... «районирование» станицы: разбили на 4 участка, а участки в свою очередь на кубики — по 150 дворов. Прикрепили весь свой народ к этим участкам и кубикам — обязав вести вечерние дежурства для бесед с хлеборобами, для справок — разъяснений и т. д. До этого времени вся наша массовая работа была сосредоточена в центре станицы: в совете, в избе-читальне. Лишь изредка проводились собрания в школах на окраинах. И население окраин почти никогда не бывало ни в совете, ни в избе-читальне. Сейчас мы шли ближе к массе.

В участках, в школах оборудовали уголки, снабдили их газетами и книгами.

Задачей всей этой массовой работы было: локализовать «агитпропработу» кулака, привлечь возможно большее количество бедняков и середняков на нашу сторону.

Но хлеб на ссыпку шел все туже. И тогда мы произвели хлебозаготовительную диверсию. По ту сторону Кубани, у устья речки Псенаф, прячется в густейшей уреме хутор Литвиновский, когда-то принадлежавший станице Вальяновской, а сейчас — аулу Адамий Адыгее-Черкесии. Туда-то мы и ударились. Добрые стансоветские вороны в миг домчали до хутора — отняла с полчаса переправа на пароме через мутную полноводную Кубань (в горах стал таять снег, вода прибывала — троцкий паводок).

На хуторе дворов сто всего. Вся власть помещается

в домике ККОВ'а, а власть эта — предикова и уполномоченный совета (он же секретарь комячейки).

Около ККОВ'а нас встретил мужчина лет тридцати, в яркой канареечного цвета рубашке, заправленной в галифе, в высоких на шнурах ботинках, — Подгорный Федор, десятник с соседней кенафной плантации. Он нам рассказал, что на хуторе хлеба до чорта, указал — у кого и сколько. Пока ходили за уполномоченным стансовета, Подгорный, присев на корточки, говорил, ни на минуту не умолкая.

Пес его, красивый сеттер, вдруг погнался за цыплятами. Федор сорвался, бешено заорал:

— Двоглас, Двоглас!

(Попозже выяснилось, что собаку он выпросил у техника, работающего на мелиоративных сооружениях по соседству, и Дугласа переименовал в Двогласа).

— Он чудак, — шепнул мне Ядровский, — бабник.

Подошедший Федор рассказывал, как он побеждает женский пол, как он недавно согрешил со старой лет 50.

— А жена?

— Жена у меня привычная, ничего.

Невероятная половая распушенность Федора сочетается с какой-то изумительной преданностью делу. На плантации он и днюет и ночует, работая сам наравне с рабочими. Начальство как-то прислало к нему старшей работницей жену одного из администраторов. Он ее прогнал, не остановившись перед крупными неприятностями.

— На кой она мне, я любую комсомолку поставлю.

Весной у него был скандал. Вальяновский предккова за столом с выпивкой вдруг разгорячился, обиженный каким-то его замечанием:

— Давай партбилет! — набросился пред на Подгорного.

— Тебе билет? На тебе партбилет! — Подгорный выбил председателю все передние зубы.

...Пришел уполномоченный. Мы прошли к трем-четырем зажиточным хлебоборам. Закупили свыше 300 пудов.

Погибельный — кандидат в кулаки — закрестился и забожился, что хлеба у него нема.

Хуторяне стали его стыдить.

— Та идить подивитесь сами, — с досадой сказал он.

Мы зашли. Хлеба — зерна и муки — у него было пудов около 300. Был он и в амбаре, и в хате, и даже в конюшне стояла огромная — из целого дерева — бочка с мукой, — пудов за 40.

Продал нам Погибельный 100 пудов.

Возвращались мы веселые, довольные. В станице нас ожидала радость. Через дежурных в кубиках и участках поступили сведения об укрытом кулаками хлебе.

Нашли хлеб у кулака Луценко — владельца паровой молотилки — около 100 пудов. Рядом со стан-

советом, у кулака Данильченко, тоже нашли 100 пудов скрытой пшеницы.

Вслед за этим — в четвертый раз нашли излишки у Плешаня, члена стансовета. Он спрятал около полусотни пудов пшеницы в саж для свиней.

На пленуме совета хлеборобы сами внесли предложение об исключении Плешаня из состава совета. Под крики: «позор!» он единогласно был лишен звания депутата.

В участок к Темнову пришли на беседу около трех десятков середняков. Вопросами его закидали.

— Куда идет хлеб? Зачем его вывозят за границу?

— Почему цены на хлеб низкие?

Темнов не успел даже на половину вопросов ответить. Хлеборобы сами назвались зайти завтра для беседы.

— Товарищ председатель, — перехватила Темнова на улице казачка, когда он шел с дежурства: — Празда, что с кур тоже налог будут брать?

— Наболтали тебе, а ты и слушаешь.

— Так це брехня?

— Конечно, брехня.

— Ах, чортовы сыны. Пойду очи заплюю, — ругала повеселевшая женщина своих «просветителей».

Кулака Пилипенко народный суд приговорил к шестимесячному заключению с принудительными работами.

— От то ж гарно; — говорили в станице.

— Так его, пса, и надо, божий дар сгноил..

Таких разговоров раньше не было.

И вдруг к Петрову пришел хлебороб с жалобой.

— Мне Швайковский говорить, шоб я не пийшов на собрание. Зачем, каже, тобі собрание, на грец воно сдалось, шо воно тобі дає? Ты бы поробил тим часом,— гарнийше було-б.—А потим грозивсь мене побить!..

...Вечером я тихонько шел по двору станичного совета. На балкончике беседовали тыждневые.

— ...он и говорит— нанизать их всех на вилы, хай им бис...

Голоса примолкли. Кто-то тихо сказал:

— Тогда надо было воевать, когда наши были, а то все попрятались— не пойдём, не пойдём. Вот теперь и мучайся... Сейчас самим начинать—ничего не выйдет. Надо ждать, когда придут...

Тыждневые, призванные охранять совет. Хороша охрана!..

Я добился того, что с тыждневыми стали проводиться беседы, читка газет. Были они всегда под рукой, свободные, доступные обработке.

Наша работа дала уже результаты, но враг отвечал бешеным натиском.

Комсомолец рассказал мне о старике казаке Петренко. Он жил со своей старухой вдвоем, жил очень бедно. Яровой посев его надо было полоть, но денег, видно, у него не было. Посев зарастал будягами, пропадал. А Петренко с женой—больные оба—лежали в хате, полуголодные. Я вызвал его. Петренко прико-

вылял — сгорбившийся, в вытертом бешмете и высокой пластунской папахе, со сторожким взглядом серых выцветших глаз. На все вопросы мои отвечал, вперед подолгу подумавши. Я предложил ему помощь деньгами и хлебом. Он сказал, что подумает, посоветуется со старухой, а потом придет. Не пришел ко мне старик. А потом я узнал, что кулаки помогли ему и хлебом и в полке посева..

ЛЮДИ.

Давно был снят по директиве района предсельхозтоварищества Жадин.

Сменивший его Петров успевал работать и назначаем товарищества, и бегал в закупочной комиссии, и выступал с докладами. На мясистом, похожем на дулю, носу его блестели капельки пота, вытертые и заплатанные штаны сверкали по всей станице: Разговор начинал он неизменной фразой:

— По-моему так, товарищи, надо сделать...

Дальше шли практические предложения, которые ни разу не были отвергнуты. Но и из него пришлось выколачивать силой необъяснимое пренебрежение к женщинам. К его закупочной комиссии Гашка прикрепила одну делегатку. Петров назначил ей место встречи утром — перед выходом на работу, и два раза обманул — совсем не пришел в это место.

Я сказал об этом Ядровскому. Тот отмахнулся:

— А ну их! Без них голова болит! И так ночи не спишь!

Ядровский похудел и стал злым. Когда к нему приносили пакеты из района, он безнадежно дергал головой.

— Должно быть, моя очередь.

— Да что ты так волнуешься? — спрашивал я его.

— Только и жду, что исключат из партии, снимут, под суд отдадут.

В пакете были очередные бесчисленные директивы. Ядровский отходил, веселел и пускался в рассказы, как-то легко относясь к нашим неудачам.

Темнов все соглашался — с Хановым, со мной, с Ядровским, но у него появилась новая нотка, слышавшаяся чаще и чаще:

— Какое безобразие здесь в станице. Никакой работы не было. До чего допустили! Нет, у меня было не так в той станице, откуда я переброшен.

Мы перестали пускать его на собрания, — нельзя было быть спокойным за то, что он там чего-нибудь не скажет.

На одном собрании он выпалил по адресу сомневавшегося в чем-то батрака:

— Прошу здесь юридической философии не разводить!

На собрании станичного учительства Темнов заявил, помахивая своим чубом:

— Товарищи, кулак вырос на целую голову выше нас и технически и политически.

Когда я об этом рассказал председателю рика Миронову, тот не без ехидства сказал:

— Что же, он прав, он ведь по себе судит.

Сам Темнов, которому сказали об его ошибке, расстроился:

— Да неужели я это сказал? Признаю свою ошибку.

И еще было у него новое: тужил вслух, что нет у него хоть по часу в день свободного времени:

— Я, товарищи, получаю заочно пособия по переподготовке красных командиров, да вот три месяца за книги и не брался.

Темнов был красным партизаном, долгое время работал в ЧК, командовал где-то не то взводом, не то сотней, любил вспоминать об астраханских песках.

Однажды мы разговорились с Ядровским и Темновым.

— Какие газеты вы читаете? — спросил я у них.

— Я читаю «Советский юг», — ответил Темнов.

— А я «Правду» изредка.

— Как же ты, Темнов, читаешь «Советский юг» когда он с нового года не выходит?

Темнов покраснел, закашлял и ушел из кабинета.

Мне надо было ехать в соседнюю Старокорсунскую станицу. Я подбирал бумаги, надо было спешить.

Ядровский сидел на месте Темнова, поигрывая карандашиком.

— Ядровский, распорядись, чтобы мне дали коня.

Ядровский двинул было задом, ширнул по сторонам глазами, — в комнате, кроме нас двоих, никого не было, послать было некого. На лице у него была смертельная неохота встать. Глаза его вдруг, уткнулись в колокольчик, он осклабился и шумно зазвонил.

Потом поставил звонок и с недоверием прислушался:

— Придет кто или нет?

Было это вечером, в совете были лишь тыждневые — в конце огромного дома.

Я не выдержал и рассмеялся. Ядровский — тоже; глядя друг на друга, мы хохотали до слез.

Сам Ядровский из воронежских батраков, в гражданскую работал в подпольи, еле ушел однажды от белой контрразведки.

А сейчас и он и Темнов — отстали.

Случись военная непогода — они, может быть, будут хорошими бойцами, но сейчас станице нужны не такие вожаки.

Распрощались все-таки мы с Яриным! Налетел как-то член правления краевого союза потребительских обществ, попал как раз на пленум совета и начал ругать Ярина на чем свет стоит. Ярин не стерпел:

— Катаетесь вы, чорт возьми. Работать вас нет, только нам мешаете.

Член правления пообещал, что Ярина снимут с работы и отдадут под суд. Ярин совсем ожесточился, два дня ходил, ничего не делая и всем мешая работать рассказами о своей обиде. Вдруг его укусила

собака. Доктор признал необходимым проделать предупредительное лечение против бешенства. Ярин прибежал в стансовет.

— Меня кобель укусил. Поеду лечиться, доктор посылает, — шумел он, потрясая справкой. Был он веселый и радостный, — довольный таким исходом дела...

Остальная братва расквасилась. Бараненко шептал мне:

— Шлепнуть бы с десяток кугутов, тогда повезли бы. Знаешь, как мы работаем? Приведешь вора, закроешься. Сознавайся! Не сознается. А как выбьешь ему бубну, в два счета сознается.

На столе у него я прочитал записку от старшего милиционера соседнего участка.

«Тов. Бараненко!

Задержанных Елисеева и Воронову принял. Первый — прямой участник совершенного зверского убийства, а признание будет зависеть от его ребер...

С товарищеским приветом...»

Бараненко мне рассказал:

— В Пашковской был у меня случай. Повздорили мы с младшим милиционером. Я его ударил, он меня. А тут люди, жалобщики. Мы их отпустили, дверь на крючок — и пошли. Он меня, я его. Я все-таки крепче ему морду набил.

На женском собрании к нему подошла девушка Бараненко вытянулся, напружинился, улыбка — ослепительная, — красив, красив!..

Девушка таяла, чуть не прижималась к нему.

— А ты, видать, специалист по любовным делам, — сказал ему Ханов.

— Ну, что ты, что ты. Ни в коем случае. Да разве здесь можно. Такие сплетни пойдут — сразу весь авторитет растеряешь. Я здесь — ни-ни! — У Бараненко лицо стало обиженным и гордым, и вдруг он рассмеялся, захлебываясь от веселья:

— Ха-ха-ха! В городе — там я уже возьму свое!..

Из райкома пришли протоколы. Райтройка поручила мне расследовать случай массовой реквизиции хлеба по станице Вальяновской.

— В чем тут дело — ты не знаешь? — встревоженно спросил я Ядровского.

Он ответил неискренно:

— Нет, не знаю. — Потом как будто вспомнил:

— Обожди, кажется, Бараненко что-то писал. Надо его спросить.

Заперлись в кабинете четверо — Ядровский, Темнов, Бараненко и я.

— Что ты писал в район?

— Я послал рапорт об отобрании хлеба.

— О каком отобрании?

— А тогда, вечером, мы у кулака забрали.

В рапорте Бараненко писал районному адмотделу:

«Доношу, что на основании постановления бюро ячейки ВКП(б) мне поручено забрать у кулаков хлеб, где и как и в каком бы он количестве ни находился, с преданием их

сулу, вопреки ваших распоряжений, а потому прошу вашего распоряжения дать на сей счет указания».

На черновике дальше стояло зачеркнутое:

«... так как последствия могут быть нежелательными и моя ответственность впоследствии может отразиться на моей службе...»

На Бараненко накинудись и Темнов и Ядровский.

— Кто же тебе такую директиву давал? Что ты наврал?

Бараненко вспотел. Весь красный, он то вставал, то садился, то прижимал руки к сердцу, поглядывая испуганными глазами:

— Я в район написал как старший милиционер.

— А почему не сказал об этом?

— Да я же писал как старший милиционер. Как член партии — я отвечаю вместе с ячейкой...

Бюро ячейки закатило Бараненко строгий выговор. На бюро ругали его все, даже дружок и единомышленник Исаев — был против него. Неожиданно выяснилось, что о посылке рапорта знал Темнов, чуть ли не советовал и послать-то его. Темнов — скорее:

— Признаю свою ошибку, товарищи, промахнулся..

В работе отстаивалось, собиралось новое ядро в ячейке. Петров, Якуба, комсомольский Мельниченко, еще два-три комсомольца — все они группировались вокруг нас, выполняли все задания четко и скоро.

Ханов радовался:

— Вот и смена!

Но смена была еще очень молода, а руководство станичное надо было менять, и чем скорее, тем лучше. Я ругался с Хановым:

— Что же вы до сих пор не подбирали актив? Где красные партизаны, бывшие красноармейцы? Неужели полсотни человек нет толкового своего народу в станице?

— Есть, да надо его выявлять. А кто будет делать это? Темнов, что ли? Да и мы в районе отстаем, а здешних ребят и винить нечего.

— Но ведь нельзя же так, понимаешь — нельзя.

— Согласен. А почему город не дает работников? Сам сейчас видишь, какие тут люди. Если не пришлют свежих городских людей — сами мы не справимся, не справимся! Возьми вот Гашку. Выдвигай вот ее! Да ее вперед учить надо, она неграмотна. Все мы неграмотные!..

Заместителем Темнова работал местный уроженец, из иногородних — Ничай. Повестки о дополнительном самообложении (тогда, — еще до совещания в округе) мы поручили составить ему. Он выписал их штук пятьсот.

— Да разве все это кулаки?

— Нет, тут и середняки есть, зажиточные.

— Почему же ты им выписал повестки?

— У них хозяйство хорошее. Они могут заплатить.

Три четверти повесток пришлось выкинуть. Ничай обиделся:

— Я лучше вас станицу знаю. Что вы мне указываете?..

Ничай вел все хозяйство совета — не маленькое: сдавал в аренду земли, смотрел за общественной запашкой, ухитрялся на скудные станичные деньги подобрать хороших лошадей (в совете было их три пары, да верховой конь для милиции).

Везде мелькал Ничай белой войлочной шляпой, дело у него как будто спорилось. Но к коренному станичному населению он относился с неприязнью. Мы пробовали послать его закупать хлеб на дому и отозвали: нажимал он чересчур.

Когда ему говорили, что так нельзя, он сердился:

— А как же нас они преследовали? Меня шестнадцати лет в восемнадцатом году хотели казнить. А теперь атаманом в зубы смотреть?.. Душа с них вон.

— Кучеров попрежнему отлынивал от работы, закупочная комиссия его работала хуже всех. На собраниях он тихо злобствовал. Его однажды отругали, а на другой день его комиссия пошла по участку с шести утра, но тракторы ККОВ'а, вспахивающие общественную землю, остались без керосина. Кучеров оставался заведывающим еповским складом горючего, в это утро он даже не зашел на склад. Шофера нашли его на участке. Кучеров им сказал:

— Ступайте в ячейку к Ядровскому, он меня мобилизовал на хлебозаготовки.

Притянутый к ответу, Кучеров нагло отрицал вину. Когда же вновь его упрекали в слабости хлебозаготовительной работы, он сказал:

— Я же местный. Хорошо приезжому — он поругался, поскандалил и уехал. А я ведь в станице останусь, мне жить с ними надо. Вот вы, приезжие, пошли бы со мной.

Дела Кучерова были просто предательством. Его предложили исключить из партии и единогласно исключили.

— Подождите, товарищи, как же это, — испуганно и часто заговорил Кучеров: — я виноват, сознаюсь, но не исключайте. Что же я буду...

— Работай хорошенько, искупи вину. Тогда посмотрим.

Район поручил мне обслуживать еще две станицы. Я уехал туда, вернулся через неделю вместе с секретарем райкома т. Боковым. Собрали всех партийцев и комсомольцев. Это было спустя несколько дней после появления в печати беседы Сталина о хлебной проблеме.

Мы с Боковым решили провести беседу на этом собрании. Была настороженная тишина, все подтянулось. Жадин смотрел на меня и — как будто не видел.

Я спросил его:

— Какая директива партии в отношении середняка?

— Да.

— Что да?

— Извиняюсь, я вопроса не понял.

Все рассмеялись, напряжение спало, и беседа полилась.

Но какая беседа! У меня заломило сердце — как же до сих пор я не учел этого? Почему не вдолбил, не растолковал, не проверял — поняли ли они? Но ведь каждый день на заседаниях бюро об этом говорилось. Газеты с ними читал, разбирался. И все это — как к стене горох.

Медведев — активист — заявил:

— Наша политика сейчас такая — в полном смысле раскулачить.

— А почему хлеба мало идет?

— Я знаю из практики в 1924 г. Кулаки стремились задержать хлеб до провесни. Ну, а сейчас центральные губернии остались без хлеба, который весь пошел на спекуляцию, чего государство не учитывало.

Я спросил — читали ли статью Сталина. Оказалось, что читали только пять человек. Ядровский, прочитавший статью, разъяснял:

— Сталин отмечает, что была ошибка в статистике. Крестьяне задержали хлеб. Оно, крестьянство, и виновато.

Кто-то сказал, что затруднения с хлебом из-за того, что нам надо много хлеба вывезти за границу.

Дальше выяснилось, что решения апрельского пленума ЦК партии в ячейке просто не проработали.

Хорошо разбирались в вопросах лишь с десяток товарищей.

Каково же было качество нашей массовой работы?!

ЗЕМЛЯ

Статья Сталина о хлебных затруднениях была дана чрезвычайно во-время. Она отвечала на многое множество недоумений, которые копошились в голове работников и которые не с кем было разрешить в станице.

Вопрос о земле на Кубани с ее своеобразным сословным переплетом — это вопрос исключительной важности. Вот его-то и поставила перед нами статья Сталина в первую очередь.

... Споры о земле, борьба за нее, начались на Кубани с момента переселения сорока запорожских куреней. Чуждые пришельцы, казаки воевали с племенами народа «адыге» (черкесы), оттесняя их в глубь, к югу. История разгрома высококультурных черкесских хозяйств закончилась значительно позднее, когда огромное количество черкесов ушло в Турцию, и остались немногие аулы на Лабе и по средней Кубани, ограбленные, с землей, которая наполовину затоплялась во время весенних и летних паводков

горных рек. В старинной солдатской песне ярко отражена земельная политика в отношении горцев.

Если хотите мириться,
Мы вам землю отведем,
За Кубанью поселиться
На аркане поведем.

А вот документ, характеризующий практику этой политики, послужной список ген.-лейтенанта Бабича, который участвовал в 1830 г. в сражениях:

«20, 21 и 22 октября в Арбинском ущельи... при неоднократном отражении неприятеля, упорствовавшего защищать свои жилища от истребления во время занятия войсками нашими аулов...»

Борьба за землю велась и внутри самого казачества. Запорожское общинное землевладение с правом вольной заимки было перенесено на Кубань, и вот из куреней начала выходить на хутора войсковая старшина. Разумеется — захватывая себе лучшие земли.

Вскоре войсковой старшине были пожалованы военные чины, резко отграничившие ее от рядовых казаков, — в особое сословие, в панство.

Это панство не только забрало лучшие свободные земли, но подбирало к рукам и казацкие общинные земли. Мало того: заставляло казаков работать на себя целыми строевыми командами.

Хутора противостояли куреням. Была долгая ожесточенная борьба. Чтобы остановить и сокра-

тить земельные захваты хуторов, курени выводили траншеи, а хутора травили казацкие посе́вы стадами и табунами, а то и просто — перепахивали землю и по житу сеяли пшеницу.

Борьба эта разрешалась в 1842 г. положением, которое закрепило расслоение, установив нормы пожизненного владения:

для рядового казака — 30 десятин, для обер-офицера — 200 десятин, для штаб-офицера — 400 десятин, для генерала — 1.500 десятин.

В 1870 г. пожизненное владение было заменено потомственным. Земли были распределены по удобству и урожайности на 5 категорий. На душу нарезалось от 15 до 30 десятин, сообразно категории. Все казаки, достигшие 17-летнего возраста, получили пай. Часто земля делилась просто по числу душ мужского пола.

Обширность края, огромная убыль в людях от войн, болезней — понуждали кубанское казачество принимать в свои общины пришельцев извне. И если в 1797 г. кошевой атаман отдал приказ «не принадлежащих к войску людей, переходящих на войсковую землю... удалить за реку Ею и впредь сторонних поселенцев на войсковую территорию не пускать», то через несколько лет на Кубань перешло 40 тыс. их из Черниговской и Полтавской губерний, а через 10 лет — еще около 50 тыс. человек.

Помимо того — непрерывно шли на Кубань беглые, оседавшие здесь.

Но тем из прибывающих, которые не приписывались к войску, не становились казаками (по ряду причин)—запрещалось приобретать землю казачью в собственность. Это запрещение было отменено в 1868 г., после чего прилив иногороднего населения на Кубань чрезвычайно усиливается, и к началу революции 1917 г. оно уже превысило казачье население, составив 57⁰/₀.

Кубань быстро становится земледельческой областью, спрос на землю огромен. Иногородние — большинство из них крестьяне — арендуют у казаков всю свободную, не засеянную ими землю. Казачество уже не продает землю, которую так выгодно сдавать в аренду, и в отношении безземельных иногородцев становится коллективным помещиком. Но количество казачьего населения растет, землю пришлось переделить, уменьшив казацкие пай. Неумение хорошо использовать свой пай, тяготы военной службы, связывающей казака на всю жизнь, процесс капитализации области — все это ухудшает экономическое положение массы казачества. Виновником всего этого казачество считает иногородних, хотя они жили в массе своей гораздо беднее казаков.

Вражда к иногородним все усиливалась. Арендную плату за землю казаки повышали при каждом перезаключении договоров. С них драли посаженную плату — за одну только усадьбу иногородние платили по 60 рублей в год.

Арендная плата была платой не только за землю — тут она была оплатой за право жить.

Иногородние были стеснены в пользовании школой. В Вальяновской и сейчас одна школа называется «иногородней» — она была построена на средства иногородних, казаки туда своих детей учиться не пускали.

Иногородним запрещено было пользование общественными магазинами.

Даже пользование церковью было стеснено. Если иногородний брался за хоругвь во время крестного хода, на него рычал станичник:

— А ты ии справляв, городицька твоя душа, шо хватаешься за ней?

Но и сами иногородние представляли собой три неравные группы: коренные, имеющие свою землю, которой у каждого было в три раза меньше, чем у любого казака; коренных было меньше $\frac{1}{4}$ всех иногородних. Затем — пришедшие из разных губерний, осевшие здесь и имеющие усадьбы — обрабатывающие арендованную землю. Их было около половины всего. Наконец — пришлый элемент, не имеющий оседлости, так называемые квартиранты, — поставляющие преимущественно батраков.

Если иногородних объединяло в основном своего рода полукрепостническое положение, то внутри их было резкое классовое деление, которое впоследствии стерло сословную рознь между казаками и иногородними

С революцией 1917 г. борьба за землю обостряется. Но... наступают казаки. В декабре 1917 г. Кубанская рада утвердила программу по казачьему вопросу. В ней говорилось, что:

«Все земли кубанского казачьего войска, леса, рыболовные воды как лежащие внутри Кубанской области, так и морей, омывающих берега ее на семиверстном расстоянии, и прочие угодья со всеми недрами, как историческое достояние Кубанского войска, составляют неотъемлемую собственность казачьего войска».

Дальше говорилось, что

«все частновладельческие земли, выделенные путем высочайших пожалований, наград, земли казенные и монастырские бесплатно отчуждаются и поступают в фонд края. Земли церковные, причтовые, офицерские, выделенные из юртов станиц, бесплатно возвращаются станицам».

Наконец, указывалось, что земли крестьянские, наделенные земли крестьянских товариществ и мелких собственников должны остаться за их владельцами в размере новой земельной нормы.

Казачество, как видно, обижено не было. Разумеется, войсковые земли никак не предназначались малоземельным иногородним.

Политика Краевого кубанского правительства была: «Земли иногородним — ни-ни».

Весной 1918 г. 2-й Кубанский областной съезд советов издал декрет о земле, которым устанавливалось право владения и распоряжения всеми землями, лесами и водами за областной советской властью;

а в пределах какого-либо населенного пункта — за местными советами и земельными отделами при них. Декретом уничтожалась арендная плата и частный труд. Наделять землей декрет рекомендовал прежде всего группы беднейшего населения, объединяемого в коммуны-товарищества. Необрабатываемые дополнительные наделы должны были распределяться среди беднейшего населения соседних станиц и сел.

На местах иногородние стали захватывать земли.

Борьба разгоралась. Новые формы землепользования ударили не только по крупным земельным собственникам, у которых по декрету земля должна была быть отнята, но и по кулацким слоям казачества и иногородних.

В июне 1918 г. в Вальяновской восстали кулаки. Недостаток в земле стал остро чувствоваться в станице еще с 1900 г., обусловив собой крепкую вражду. В 1917 г. вражда эта вспыхнула с необычайной силой. Станица кипела. Возвратившиеся и возвращающиеся в станицу фронтовики были против войны, они стояли за революцию, так как за ней ожидался конец войне и страданиям. Старики же были против, боясь потерять свои привилегии, боясь отчуждения части земли в пользу иногородних. Страсти разгорались. Станичные комитеты сменялись чуть ли не еженедельно. Но наряду с комитетом существовал атаман и старый станичный сбор. В июне 1917 г. комитет разогнали, он ушел в подполье, развернувшись в крестьянско-казачий союз. Во главе его стояли фрон-

товики: братья Горлопаны, Ивко Андрей, казаки Марухно Алексей, Кучеры и другие. В подполье эти работники определились, как большевики.

После разгона Учредительного собрания кубанский атаман Филимонов послал агитаторов по станичникам собирать подмогу.

Вальяновские старики собрали человек 60 подростков и послали их в Краснодар, а вслед собрались сами, но оружия предусмотрительно не захватили, и их вернули домой (многие из них этим были довольны).

Тем временем фронтовики берут в станице не долго верх, на станичном собрании Филимонову выносятся недоверие. На станицу налетает карательный отряд подполковника Лисовитского, обезоруживает станицу, разгоняет фронтовиков, арестовывает и убивает 5 человек. Отряд вскоре отходит. В станице организуется совет, председательствует Ивко Андрей. Начинается раздел земли между иногородними. Часть фронтовиков-казаков вместе со стариками восстала против совета, в окрестностях станицы бродили беглые банды.

И в августе потянулись из станицы сторонники советской власти и казаки и масса иногородних, влившиеся в части XI армии и в красные отряды, образовавшие потом Таманскую армию.

Ночами в станице лопотали винтовки: белая казачья расстреливала иногородних в окна, — все иногородние были в глазах казачьего кулачества большевиками, земли иногородних продавались с торгов.

Террор кончился в 1920 г. — с приходом советских войск. Кончилось и бесправие иногородних. Урегулирован и вопрос с землей — не сразу, осмотрительно, как того требовала сложнейшая обстановка.

После отражения белогвардейщины — в огне бандитизма практически разрешался земельный вопрос.

Декрет 24 ноября 1920 г. о землепользовании в бывших казачьих областях закрепил за трудовыми хозяйствами все то количество земли, которое было у них в фактическом пользовании. На Кубани усилился бандитизм. Осенью 1921 г. генерал Пржевальский собрал под бело-зеленые знамена несколько тысяч сабель и пошел на Краснодар. Вальяновские кулаки тоже дали в банду бойцов. В станице было убито несколько работников.

Тогдашний комсомолец — сейчас партиец — председатель батрачкама Гриша Кувика был пойман на площади, почти рядом с советом, контрреволюционерами. Ночью, в полнейшей темноте его обезоружили, забили чем-то рот и, избивая, повели за станицу — истязать до смерти. Выручил его случайно дозор чон'а.

Наконец, сломлены и развеяны остатки бандитизма. Борьба же за землю продолжается. Единым фронтом идут кулаки. Голод 1921—22 гг. был им на пользу. Несколько десятков вальяновских кулаков невероятно разбогатели за этот год. За пуд муки покупался сарай, за пять пудов зерна — целая усадьба. Беднота и маломощное среднячество бросают хо-

зяйство, идут в батраки, оставляя землю кулакам. Летом 1922 г. областной исполком издал постановление об аннулировании кабальных сделок, ставших массовым явлением.

Иногородняя беднота и середняки запугивались кулаками и их сторонниками.

— Погодите, придут вот наши. Всех вас переведем.

Кулацкому натиску противостояли вернувшиеся с фронтов красные партизаны. Часть из них пошла в артель «Братская жизнь», что на речке Первые Кочати. Вслед за ними из станицы вышло на хутор восемьдесят дворов — почти все бывшие красные партизаны. И хутор называли Красноматвеевским — в честь покойного командующего Таманской армии. Огромное большинство из них впервые получало землю. Во главе хуторян стоял коммунар — вальяновский казак Алексей Марухно, командир эскадрона Таманской армии, а затем в армии Буденного.

Когда я приехал в Вальяновскую, мне рассказывали очень много об Алексее Марухно. Больной туберкулезом, он лежал в своей хатке на хуторе.

Встретиться с ним мне пришлось на последнем его пути в могилу...

На похороны ездили мы с Хлыновым. Хуторок Красноматвеевский — в 18 верстах от станицы — разбросан по берегу речушки. Хатки все маленькие,

только две-три под железом, остальные крыты камышом. Амбары и сараи не в каждой усадьбе. Гибкие, молоденькие — гнутся под напором степных ветров груши, черешни. Хатка Марухно — низкая, убогая. Служб во дворе нет, да и двора-то нет. На плану торчит десяток яблонек, против хатки — тощая копица половы, стоит лошадь, привязанная поводом к бороне.

У хатки столпились женщины, то засматривая, вытягивая шеи, в открытую дверь, то отходя и громким шопотом разговаривая.

Из хатки вышел паренек лет пятнадцати. Паренек был бледен и суров.

— Сын, самый старший, — сказал бывший партизан, друг покойного, Гринько Шепель: — в отца строгий. Алексей перед смертью говорил: «Если руки мне крестом сложите — из могилы встану, ночью приду. Матери так и не дал крестом руки сложить».

Я вошел в хатку, протискавшись среди женщин. Многие молча плакали, утирая слезы кончиками козынок и платьев.

Из угла, разукрашенного портретами вождей — в центре был портрет Ильича, убранный расшитыми полотенцами, заголосила женщина.

— Вот приехали к тебе твои това-а-рищи...

— Не дождался ты их, мой родненький...

Алексей Марухно, одетый в черную стиранную рубаху, лежал на скамье. Лицо его было желто, виски,

тронутые тлением, побелели. Кожа так высохла, что обтягивала череп вплотную, а глаза, мутные и тупые, не были закрыты.

— Я тебе постелечку прибрала... Ты бы лег поспал на ней, мой родненький...

Вдова причитала все, что приходило ей в голову, и захлебывалась слезами.

На хуторское, небольшое еще, новое кладбище Марухно несли товарищи. Тропа на могилу заросла тугой травой, колосьями ячменя и пшеницы. Вдова падала на траву и не хотела итти, ее поднимал, ташил старший сын, бледный и суровый.

— У него мать в станице, так она сказала: «В красные пошел—нехай помирае»,—говорила какая-то женщина.

Хуторяне деловито и старательно утоптали могильную насыпь, поставили столб с железной красной звездой наверху.

— Вот еще одного старого партизана нет, — говорил Гринько задумчиво.— За что боролись? Войну воевали. Кончилась война — за землю воевали. Мы сюда силком вышли. Кричали: как вы не боитесь? Вот вернутся наши — мы вам покажем землю брать. А тут такой Терек был, что не пролезешь. Кабы не Марухно — мы разбежались бы отсюда. Он у нас командир был.

— Он и перед смертью тоже был сокол, — перебила его женщина: — всем интересовался. С месяц назад приехали работники районные, он их обо всем рас-

спросил. Они ушли, а он как вскинется. Давай, жинка, сапоги. Я поеду, надо помочь братве...

Помог Алексей Марушно, красный партизан, организоваться в двадцать втором году братве, не боясь кулацких угроз, вывел их на хуторские земли, а сам не успел дожидаться хорошей жизни, оставил пять душ после себя...

Пример партизан ободрил бедноту и середняков, к тому времени получивших большую поддержку государства. И, безземельные, впервые они стали осваивать землю.

В 1920 г. в Вальяновской было 1.671 сельское хозяйство.

В 1924 г. их стало — 1.848.

В 1925 г. число их увеличилось до 1.946.

В 1926 г. дошло до 2.080 сельск. хоз.

В 1927 г. еще прибавилось и стало 2.184 сел. хоз.

А в этом году их уже 2.209 сел. хоз.

Рост солидный на 548 дворов, т. е. почти на 35%.

И все же борьба за землю в станице не кончилась: При теперешнем землепользовании наиболее удобные земли — в руках зажиточного слоя. Большому количеству середняков и бедняков приходится до своего участка земли ездить за десяток, а то и больше верст. Вальяновский юрт тянется узкой полосой на восемнадцать верст от станицы.

Декрет о внутриселенном землеустройстве кулачье и верхушечная часть середняков встретили враждебно.

И тут начинается новый этап борьбы за землю, борьбы уже не между сословиями казаков и иногородних, а борьбы обнаженно классово́й.

По всему району из восемнадцати станиц внутриселенное землеустройство проведено лишь в двух станицах.

В соседней с Вальяновской станице Старокорсунской землеустройство проходило осенью 1927 и зимой 1928 годов.

Эти месяцы живо напоминали время восемнадцатого—двадцатого годов. В трогательном объединении оказались кулаки—и казацкие и иногородние.

— Не дадим проводить землеустройство, — вопили они на собраниях, на улицах, по всей станице.

— Не дадим нашу землю!

И в мрачные осенние ночи то в одном краю, то в другом взлетало тревожное пламя, над станицей маялся медный набат. На пожар сломя голову мчались советские работники, беднота, середняки — советские активисты. Словно волки, стояли у дзоров казаки и подкулачники и злобно ворчали:

— Ось вам, бисовы сыны, землыця...

Иную ночь было по два, по три пожара. Жгли дома красных партизан, красноармейцев, советского актива. Кулачье страдало. Измученная злобным натиском врага беднота колебнулась. Тогда председатель совета станичного Трефилов выкинул отчаян-

ную штуку. На общестаничном собрании бедноты, выйдя из себя, он закричал:

— Что же вы смотрите? Вас жгут, землю не дают, а вы молчите. Бейте их, жгите кулаков. Они двор подожгут, а вы — десять...

Слова Трефилова напугали кулаков. Ночь прошла без пожаров. Что было бы дальше — сказать трудно. Только очень ко времени помогло и окончательно сломило упорство кулаков изъятие и высылка из станицы самых заядлых контрреволюционеров-кулаков, подстрекавших к поджогам и к избиению бедноты и середняков.

Два года велась эта борьба в Старокорсунской. Когда она закончилась — время сева почти прошло. В станице озимый клин резко сократился. Кулаки злорадствовали:

— Ось тоби устроились. Ни себе, ни людям...

В станице образовано 35 земельных обществ и 9 поселков с переходом всего населения на пятипольный общественный севооборот.

Земля сейчас тремя кольцами охватывает станицу. В первом кольце — ближайшую к станице землю получили беднота и маломощное середнячество, во втором кольце — середняки, а дальше, за ними — зажиточные и кулаки.

Семь колхозов были землеустроены особо.

...Землеустроены по району только две станицы из восемнадцати. Борьба за землю, за классовое устройство еще предстоит.

Без решительной победы здесь бедноте и маломощному середняку поднять хозяйство очень трудно.

ХЛЕБ

Статья Сталина поставила перед нами и вопрос о хлебе, о зерновых культурах.

С хозяином общественной квартиры Поповым была у меня не одна беседа. Разговаривал он очень осторожно, опасаясь сказать лишнее слово. Но и из осторожных слов проскальзывало:

— Что вы там понимаете в сельском хозяйстве? Культура, агрономы, тьфу. Наши диды сеяли без культуры, а урожай был с десятины пудов по двести, по полутора. А теперь хорошо, если вокруг по полсотни пудов пройдет...

Я опросил много вальяновских старожил. В один голос они говорили то же самое.

— Да и пахота была. Букарями пахали на вершок, а сверху зерно, задерешь его бороной — и все.

Действительно — «все». Грабили сами себя, хищнически истощая землю. Зачастую сеяли прямо на жнивье, разрыхляя уже потом землю букарями. В результате — падение урожайности земли.

И сейчас — обработка земли неудовлетворительная. Вальяновцы в этом году особенно за это поплатились — гибелью почти девяти десятых озимого клина. Земли по юрту станицы — 14.338 дес., основной клин —

озимой. В 1927 г. он составлял 8.221 дес., на 1928 г. было заложено 8.932 дес. Пахали по старинке, сеяли тоже.

Зима была дождливая, дожди шли в январе, феврале, сменяясь лютыми морозами. К марту стало очевидно, что озимые сильно вымерзли. Позднее экспертная комиссия дала заключение о гибели по Вальяновскому юрту 95% озимых.

А в тридцати верстах, у пашковцев, озимые всходили отменно хорошие.

Я зашел в вальяновский агропункт. Он помещается в центре станицы, в большом доме. Но... под агропунктом собственно, небольшая зальца, заставленная снопами пшеницы, ячменя, обвешанная диаграммами, картинками. Остальную, большую половину дома занимает под квартиру агроном Чучмарь. Высокий, широкоплечий с румянцем во всю щеку, он сразу нравился. Думалось: вот, наверное, у такого дело поставлено хорошо. Но агропункт был уныло пуст. Целыми неделями в нем не бывало ни одного человека. Из квартиры же аграномовской часто слышалось сладкое бульканье пианино

— Почему озимые вымерзли? Конечно, известная часть и должна была вымерзнуть из-за климатических условий, но больше виновата плохая обработка. Рядом ведь пашковцы — у них не вымерзло. Вартели «Братская жизнь» тоже не так много вымерзло там, где они хорошо обработали.

Чучмарь покраснелся, распахнул ворот парусовой рубахи с затейливой вышивкой:

— Станешь им говорить, так тебя же ругают. С нашим народом сговориться трудно...

— Но все-таки — пользуются хлеборобы вашими советами?

— Пользуются. Я собрал вокруг себя, так сказать, актив. Если бы не актив, тут и делать нечего было бы.

— Что же этот актив делает?

— Обрабатывает землю по моим указаниям, разводит новые культуры.

— А что у вас есть нового?

— У меня клещевины двадцать пять десятин, сои восемь десятин, кореандра двадцать пять десятин, в этом году арисхариса — китайские бобы, знаете? — заложил четверть десятины.

— Сколько же у вас земли?

Чучмарь посмотрел непонимающе и рассмеялся:

— Да это не моя, не пункта земля, а хлеборобов, актива моего, я только советую да учитываю. Да если бы агроучасток был такой, хорошо было бы.

— Что это за кореандр?

— Подождите минуточку, я сейчас. — Чучмарь начал искать в груди пакетиков. Высыпал на ладонь бурые, круглые, как дробь, зерна.

— Это техническая культура, из зерен выделяется душистое эфирное масло — для нашей парфюмерии.

От растертых пальцами зерен шел запах — сильный, терпкий и странно привлекательный.

— Я попробую еще фенхель — тоже масло дает. Богатейшая культура. От этих культур — деньгами завалиться можно. Да что там говорить! На нашей земле все растет. Если бы не отсталость! Да вот, взгляните сами!—Чучмарь вскочил и вытащил из кучи диаграмм в углу таблицу.

— Вот смотрите, это данные артели «Братская жизнь». Я с ними условился вести все наблюдения. Местная пшеница дает десятины чистого дохода шестьдесят три рубля, а кособрюховка — сто тридцать рублей, а седууска — уже сто восемьдесят рублей. Вы думаете — у нас седууску сеют? Нет, и не ищите ее. Как пойдут чесать свою пшеничку, — почти весь озимый клин местной пшеницы. Весной хлыщут семячки да кукурузу, а гарновки, яровой пшеницы, от которой доходу вдвое больше, — почти совсем нет. Тут работать да работать. Станичников самих надо перепахать.

Чучмаря даже спрашивать не приходилось, он говорил сам, предупреждая вопросы. Поташил во двор — показал свой опытный уголок. Здесь стояли подсолнухи, вымахавшие в рост человека и толщиной в руку; широкие коренастые листья совала в стороны, будто распахивая вокруг местечко, темно-зеленая клещевина, вытягивал тонкие стебли молодой кенаф.

...Перепахивать надо самих хлеборобов. Чучмарь сказал верно. Но надо его и самого перепахать пре-

жде всего. Сын кубанского кулака, он учился в кубанском сельскохозяйственном институте; как сын хлебороба окончил его в 1926 г., двадцати трех лет от роду. Общественник из него получился плохой.

— Никак его никуда не вытянешь. Еле заставили на пленуме совета доклад сделать.

Освобожденный от работ по хлебозаготовкам, агроном все же не использовал своего досуга для развертывания агрономической работы. Он ругал хлеборобов, а хлеборобы поругивали его, хлеборобам он не нравился. Увлечение же его техническими культурами было каким-то ограниченным, узко специальным.

Я побывал у него в квартире. На угольнике лежали исторические романы Салиаса, Лажечникова, на пианино — пожелтевшие от времени ноты — вальс «Дунайские волны». Жена его выскочила в другую комнату, надела другое платье и напудрилась. Чучмарь притащил из ЕПО старые-престарые заржавленные консервы и вино.

— Здесь, знаете, так скучно. Выпить совсем не грешно. Без вина и гости не гости...

А старокорсунский агроном — комсомолец Куликов — и днюет и ночует с хлеборобами. Весной он организовывал коллективы, позднее руководил пересявом озимых, осенью — весенним посевом. Двадцатитрехлетний парень, он известен всей почти станице, на квартиру к нему идут за советами. Зовет его вся станица по имени и отчеству.

...Зимой этого года по всему району погибло 38.196 дес. озимых — 37% всего озимого клина.

И весна в районе была небывалой страдой. В каждой станице были работники из округа и района. Были проведены совещания хлеборобов. Район распределил по станицам на 27.712 руб. сельхозмашин, тягловой силы — 381 лошадь, 6 тракторов совхозам, семенной ссуды — 16.379 пудов. С зажиточными и инвентарными хозяйствами заключались договоры на обработку земли бедноте и маломощным середнякам. Трактора ККОВ'ов и колхозов пахали днем и ночью — с фонарями. В результате — яровой клин расширился с 62.200 дес. до 99.525, т. е. на 37.319, а посевная площадь по району увеличилась по сравнению с 1927 г. на тысячу с лишним десятин.

Но площадь зерновых культур резко сократилась, урожайность зерновых культур тоже сократилась процентов на 20, и район потерял свое значение как район большого производства пшеницы.

По Вальяновской положение было еще хуже.

Весной было заложено яровых 3.282 дес., да перепажано озимых около четырех с половиной тысяч десятин. Яровой клин составлял, таким образом, около восьми тысяч, но это были преимущественно кукуруза и подсолнух.

Проблема зерновых культур обострилась до крайности.

Когда мы получили от района директиву заготовить чистосортное зерно для осеннего сева, бронируя его на месте, — все обрадовались, но на другой день директива была отменена, потом опять подтверждена и опять отменена, и посевного материала на месте уже не заготавливалось.

КУЛЬТУРНАЯ СИЛА

В последние дни закупочные комиссии все меньше и меньше заставляли хозяев по домам. Уныло барабанили закупщики палками по заборам — вызывали хозяев. Сухой стук будил станичную тишину, беспокоилась птица, яростно брехали собаки. Выходили ребяташки.

— Где отец?

— На степу.

— А мать?

— На степу.

Население убегало в степь, жило в куренях, хотя полка хлебов, весняных посевов, яро набирающих силы после дождя, — почти закончилась. Вечером, у куреней, рассеянных по всей степи, размывали темноту веселые молодые огни, издали вся степь была трепетно живой, яркими очами подмигивала вверх, в небесные закрома, полные сверкающего крупного зерна. В тишине плыли протяжные песни, а с запада на восток — по далекому горизонту — тянулась от зари до зари светлая перемычка...

Станица же была безлюдной. Комиссии мотались из двора во двор, кое-где закупая по пуду. В третьем участке закупщики нашли на одних воротах надпись мелом:

«Комиссия была три раза. Хлеба нет».

Нам надо было и заготовить хлеб и разубедить население. Сил у нас нехватало. Мы с Хановым добивались использования всех, кого только можно было использовать.

Избача Козловского мы обязали через каждые два дня выпускать бюллетень о хлебозаготовках, вывешивая его на ссыпке, в совете, в ЕПО, в участках. Селькоровского кружка в станице не оказалось, и в помощь Козловскому пришлось мобилизовать десяток комсомольцев.

Самого Козловского тоже долго пришлось рассказывать.

— Да я же делаю, делаю! — заикаясь, защищался он.

Я зашел к нему в избу-читальню. Библиотека приятно удивила: в ней было около 8—10 тысяч книг. Но еще больше и уже неприятно удивился я, когда оказалось, что библиотека состоит преимущественно из книжек Бенуа, Фаррера и т. д. и т. п. Состав библиотеки определялся целиком вкусом Козловского, на белиберду тратились огромные деньги...

Бюллетени выходили, привлекали внимание хлеборобов, приносили пользу.

Один из бюллетеней вышел с рисунками. Рисунки эти вызвали пристальное внимание станицы — около бюллетеня собиралось человек по сорок.

На бумаге был нарисован огромный шар на маленьких косых подпорках. На шаре были выпученные глаза и зубастый рот, а на подпорках — сапоги.

Внизу значилось, что это кулак, прячущий свой хлеб, и от этого так раздулся, что того и гляди лопнет.

Мельниченко — комсомольский секретарь, соредактор бюллетеня, — завидя меня, бросился со всех ног. Несказанным торжеством горел его облупленный серый нос.

— Ну как, товарищ, ничего?

Я, немного подумав и еще глянув в газеты, сказал:

— Очень хорошо.

— Мы еще лучше теперь дадим. Это ведь только первый раз.

— Кто же у тебя рисует?

— Учительницы.

— Да ну?

— Честное слово, они рисуют. Мы у Ядровского на краски деньги выпросили.

А это действительно уж хорошо, что учительницы стали участвовать в стенгазете. Привлечь их к нашей работе — эта задача была давно нами поставлена.

Еще до организации закупочных комиссий Ярин привлек к заготовкам в качестве контрагентов двух-трех учительниц, которые согласились с большой

неохотой и отлынивали при всякой возможности. Их спрашивали:

— Почему же у вас дело плохо? Неужели у вас в станице нет знакомых, к которым пришли бы вы по-дружески, по-дружески и уговорили бы продать хлеб?

— Есть, конечно, но...

Учительницы помялись, да так и не сказали. Дня через три одна из них призналась:

— Видите ли, тогда говорили: есть ли у вас знакомые? Конечно, есть. И из кулаков и из зажиточных. И что же? Не будешь же к знакомым приставать. Это сейчас еще ничего — хоть кое-что на базаре есть, а вот осенью, пойдут дожди — неизбежно приходится обращаться к знакомым, — то за молоком, то за яйцами, за маслом. Ну, можно ли с ними ссориться! Ведь вы знаете, как они недоброжелательно относятся к хлебозаготовкам.

Когда нам понадобилось спешно написать дополнительные повестки по самообложению, Темнов разослал тыждневых за всеми учителями. Было уже поздно, солнце давно село. Учителя и учительницы пришли, как один. Работали они за полночь. В кабинете Темнова шуршали перья по бумаге, звучал веселый говор и смех.

Вся работа была выполнена в один присест. Почему же в этот раз не боялись учителя поссориться с кулаками? — ломал я голову. Не потому ли, что здесь у них — явственная отговорка:

— Нас вызвали, заставили писать. Мы не могли отказаться перед лицом насилия. Ужас!..

Самым активным из учителей был заведывающий украинизированной Восточной (в восточной части станицы) школой Паненко. Потрясая жесткими огромными руками, он везде и всюду видел покушение на упразднение преподавания украинского языка, и это приводило его в бешенство.

Говорил он только по-украински. Я заходил к нему в школу, — было это как раз перед распуском ребят на каникулы, мне хотелось посмотреть школу, — не подойдет ли один из классов под временное отделение избы-читальни.

Паненко показал все училище и вдруг начал сучить руками:

— Вы хотите здесь хатку-читальню организовать? Прошу, прошу. Тильки треба отпустить гроши. Ось, бачьте, — столы поломаны, скамьи похилились, дадимо ремонт — от гарно буде...

По глазам его было видно, что он хорошо знает, что сейчас не до ремонта, и все же думает — авось, пройдет, удастся для школы что-нибудь урвать. Я сказал ему об этом, смеясь, и он тоже раскатился густым добродушным смехом:

— Треба лукавить.

Паненко выступал, призывая граждан продавать хлеб, — на пленуме совета, на общих собраниях, ругал учительство на собраниях союза рабпрос за пассивность и вялость.

Ругал он учителей справедливо. На первое собрание, назначенное накануне какого-то праздника, явилось три школьных работника — а всего их в станице тридцать два. Собрание пришлось отложить и вызвать учителей на второе тыждневыми.

В прениях выступал только один Паненко, остальные молчали. На передней скамье — собрание было в школе — сидели две розовенькие, пожилые уже учительницы. Они внимательно смотрели в глаза докладчику, сложив горсткой руки на столе и время от времени вежливо позевывая. Паненко пустил по их адресу шпильку, вызвал на разговор двух молодых учительниц. Этим и ограничилось проявление активности на этом собрании. Резолюция была принята единогласно.

На собрании мы были с Бараненко и Ядровским. Еще в начале собрания Бараненко сел на последней скамье, у самого выхода, около молоденькой учительницы, с пышно взбитыми русыми волосами.

После собрания я спрашивал Ядровского:

— Почему учителя такие молчаливые?

— Да это такой народ, такой народ.

— Но Паненко же говорил, дельно говорил.

— Так то совсем наш человек, только беспартийный.

Бараненко подошел с нарочито хмурым видом, а сквозь хмурь так и сквозило бахвальство.

— Вот привязалась эта Александра. Покою нет.

— Что она хочет?

— Там у нее дело прекратить, целая буза.

Ядровский рассказал, что учительница Александра три месяца тому назад вышла замуж за счетовода профтехтехнической школы. Вместе с матерью она приехала в станицу года два тому назад, семнадцатилетней девчонкой. Счетовод в нее влюбился и бегал за ней без малого два года

Свадьба их была какая-то странная, невеселая. Через месяц молодая сбежала к матери, обливаясь слезами. Она рассказала, что муж принуждал ее к противоестественной близости.

Следом прибежал молодожен, ломясь в двери, разбил окно, требовал, чтобы Александра немедленно вернулась к нему, иначе он донесет в ГПУ.

Молодая женщина отказалась наотрез. Счетовод начал неслыханную омерзительную травлю: встречая свою бывшую жену на улице, он кричал на нее, безобразно ругался.

Четыре раза перерезал провод электрического освещения, подговаривал станичных ребят измазать Александре ворота дегтем. В станице его не любили, ребята чуть не избили его, сообщили в совет о подстрекательстве к хулиганству.

Однажды, когда, вернувшись из школы, мать и дочь сидели за столом, счетовод ворвался в комнату. Запыхавшийся, красный, с тупым и глупым взглядом больших бараньих глаз, он словно застыл посреди комнаты. Перепуганные женщины молча и в страхе смотрели на него. Счетовод крикнул матерную

брань, схватил с кровати гитару и убежал. По настоянию матери Александра подала было в суд, но сейчас просила дело прекратить.

— Почему это она так надумала?

Бараненко пожимал плечами.

— Чорт ее знает. Позориться, наверное, не хочет. На суде ведь надо обо всем рассказывать. А может и боится чего. У нас болтали, что старуха то ее — полковница, а отец — за границей.

— Ядровский, а ты не просматривал социальный состав школьных работников?

— Нет.

Мы взяли в рабпросовском месткоме анкеты, подсчитали. Ядровский смотрел удрученно: результаты подсчета и для него были неожиданными.

Из тридцати двух школьных работников станицы — Паненко был человек, без оговорок, свой, три-четыре человека были также свои, лишь менее активные. Из остальных: одна бывшая помещица, одна дворянка, пять жен бывших белых офицеров, находящихся в эмиграции, но регулярно присылающих оттуда письма. Пять учительниц были родом из кулацких семей, связь со своими семьями они держали самую тесную и сейчас. Шесть — были поповнами и вдовыми попадьями.

— А ты знаешь, товарищ уполномоченный, — сказал вдруг Мельниченко, смеясь, — две учительницы у попа живут. А он заболел — квасу опился, у него мочевого пузырь раздуло. Так они-то за ним, они-то

за ним — как сиделки. А поп сволочной, ты знаешь, Петров к нему опять заходил, опять три пуда купил — восьмой раз...

Среди учителей значилось восемь мещан. У одного учителя в графе социальное происхождение стояло — немец.

Большинство учителей было из северных губерний. Совсем не трудно было понять, что это — остатки от ушедшей массы белых или тех, кто шел за белыми...

Мать Якубы, старая Гринченко, говорила мне как-то, озлобленная, с горящим взором:

— Як мене казаки мандрували у девятнадцатим годи, мене учитель Гура забрав на свою бахчу. Та так замучив работой, скажена сила, вся как есть вымучилась я. Як возьму сапу бургалцкую, так поки не смеркнет, спины не разогну. Я и теперь на вчителей не милостива. Гурова жена, Ризченкова то ж с белыми офицерами путались, а дочка Гроздацкая — в милосердных сестрах была у белых, жила с полковником. Треба учителей перешерститъ.

Предрика Миронов рассказал мне, что одна учительница по поручению совета делала доклад о Парижской коммуне.

Доклад начинался так:

— Граждане, день Парижской коммуны — это день международной кооперации...

Вначале у нас было намерение использовать учителей для бесед на текущие темы в участках. Мы уже собрали инструктивное собрание для них, но

спрошенные после доклада о причинах хлебных затруднений, они плели несусветную чушь.

— Хлебные затруднения у нас потому, что хлеба много вывезли за границу...

Раскачка наша все же дала результат.

Работали в общем они очень много. Со стороны многих было искреннее желание осмыслить все, понять, стать вровень с веком. И не в осуждение я говорю, что большинство из них были слишком людьми старого времени, а в порядке критики и самокритики. Задача переделки собственной природы людей, поставленная во всей стране, — стоит и перед ними. Это они должны понять.

НОВЬ

Мы поругивались с Хановым:

— Где ж ваша работа по подбору, по выявлению людей? — упрекал я его.

Накануне Алексей Миронец на вопрос о середняках и их настроении сердито отвечал:

— Да ты что, товарищ уполномоченный, да ты и не говори. Мы станицей целую дивизию за советскую власть выставим, в случае чего!

То же самое говорил и Матвиенко.

Это радовало и ободряло. Но сейчас же вставал и другой вопрос:

— Что же эти бойцы смотрят сейчас? Почему все они не помогают нам? Где они?.. Где?..

Хлынов оправдывался:

— Подбирать людей надо тоже людьми. А какие наши работники? Их самих надо подбирать. В районе мы отстаем, а про станицу и говорить нечего! Людей надо, людей надо в станицу из города!

С каждым днем я все острее ощущал недостаток людей, которые могли бы организовать вокруг себя массу.

Организаторов не было даже на хуторе Красно-матвеевском, — после смерти Алексея Марушно.

Власть на хуторе — уполномоченный зальяновского стансовета Иванова, — вдова красного партизана, убитого в восемнадцатом году. Иванова живет с дочерью, сторожихой школы. Сама она работает бесплатно — живут на дочернин заработок. Обе коммунистки. И обе малограмотные. Коноводит же на хуторе Гринько Шепель — партизан, забубенная головушка

Вечером после похорон Марушно мы с Хановым беседовали с хуторянами, разместившись на брезнах около школы. Народу набралось много — прямо из степи хуторяне шли к школе. Гринько Шепель не давал никому слова сказать — или говорил сам, или задавал вопросы.

— Ну, как там с хлебом-то?

Я долго объяснял, говорил о борьбе с кулаком за хлеб. Гринько перебивал:

— У них никогда хлеба нет. Им только верь. Я им никогда не верю. Как только узнаю, что он кулак — не верю. Может, я зараженный такой. Вот Данильченко Иван Степанович такой ласковый, такой нашенский, скажешь ему: «Дай бутылку водки». — «Пожалуйста», говорит. Напить я напью, а верить — никогда ему не поверю...

Гринько вдруг одернул рубашку и солидно сказал:

— Только мне с ними пить нельзя.

— Почему?

— Как выпью, так и драться.

Гринько рассмеялся, по лицу побежали веселые складочки.

— Еду я раз с фотографом, в станице фотограф есть Синицкий, приезжал артель снимать. Он дорогой за оппозицию агитировать взялся. Вот, мол, только оппозиция за красных партизан и стояла. «Оппозиция, — говорю, — оппозиция?» К-ак дам ему по рылу, он — бряк в болото. Я по коням и гайда. Вот тебе оппозиция. Мы таких видали. Я Турцию всю прошел и астраханские пески пролазил. Я сейчас целый барометр.

Расспрашивали меня хуторяне решительно обо всем — о внутреннем и международном положении, о ценах на промышленные товары, о новостях науки и техники.

Давно потухла заря, вечер был теплый и видный — сверху голубой свет струили звезды.

Особенный интерес у хуторян был к коллективизации. На хуторе уже организовалось два коллектива — «Красный партизан», объединяющий тринадцать семей, и «Красный пахарь» — с шестнадцатью семьями. Есть на хуторе твердая думка — всех коллективизировать.

— Плохо нам помогают! — говорили хуторяне:— Когда приехали организовывать, обещали трактор, а не дали. А зачем обманывать? Нет, прямо и скажи, что нет. Нечего голову зря морочить.

— Если нам трактор дадут — все в коллективы запишутся. Братва у нас дружная.

Разговор не раз возвращался к хлебу. Хутору сейчас трудненько. Землю свою—118 дес.— хуторяне всю вспахали, добрая половина пошла под озимые, озимые вымерзли, перепахать успели они мало — нехватило сил.

— Трактора нам надо. Без тракторов мы хозяйства не поставим. То ж машина.

Неистово и неистощимо ругали хуторяне станичный совет и ячейку за невнимание:

— Хиба же це дило? Школа малесенькая, ус три группы в одном мисци. Яке це вченье? — негодовал старик Акименко.

Со школой на хуторе плохо. Дети занимаются минут по сорок в день, учительница одна на все группы, — получает за это сверхурочные.

Ругали совет и ячейку за то, что на хутор приезжают раз в год, ругали за то, что один разъединствен-

ный раз прислали им кино-передвижку, а та сломалась, и ничего не вышло.

— А как там насчет войны, не слышать? — спросил Гринько.

Войной хуторяне интересуются сильно, сейчас же пошли воспоминания. На хуторе хорошо работает стрелковый кружок, есть прекрасные стрелки.

— Андриенко Павел в дивизии первый приз взял, выстрелил себе сукна отрез, веялку. Одним очком не попал на всесоюзное состязание, — горделиво, наперебой, хвастали партизаны.

На хуторе только ячейки нет. Я спросил, почему они не вступают в партию. Отозвался тот же Гринько Шепель:

— В партию я ни за что не пойду. А поддерживаю ее на сто процентов. Все фронты я прошел, знаю, как она досталась!

— Почему же ты не пойдешь?

— Ну, нажахаясь, опозорю.

— Опозорит, опозорит, что и говорить, — отозвался сосед Шепеля.

Шепель как будто обиделся немного, но отошел сердцем:

— Мы и беспартийные живем по-новому.

— Как?

— Церкви нет, в бога не верим. Детей не крестим. Степан Казенко недавно девочку октябрил. Расскажи, Степан.

Казенко смущенно начинает рассказ, теребя черную курчавую бородку.

— Родилась у меня девочка. Да. Слышу, бисови бабы хотят дите окрестить. Ну на что же я буду крестить! Что же я — дурак, что ли? Жене говорю — не смей. Ну, жена подданная мне, а бабка против. Хотела тайком крестить, а я регистрацию порвал. Зимой этой октябрил. Девочке два года было, третий. На стол поставил с флагом. Гордо так стоит.

Наконец, мы стали прощаться. Вдогонку нам из тьмы донесся голос Гриньки:

— Кулакам там не верьте, кулакам, так-рас-так.

Наконец, я, отложив кучу дел, выбрался с Хановым в артель «Братская жизнь», о которой так много говорят в станице.

С председателем правления артели товарищем Мироненко я встретился у Темнова в кабинете.

Мироненко стоял около Темнова, широко расставив худые жилистые ноги в коротеньких брючках и желтых ботинках с узкими носками. Охватив грудь руками — ладони подмышки, — он горячо о чем-то говорил.

Темнов нас познакомил. Мироненко стиснул мою руку крепким закорюзлыми пальцами, ногти на которых были толстые и твердые, как маленькие копытца.

Я не ожидал, что он, тощий и длинный, такой сильный, — руку сжал до боли.

— Ознакомиться хотите с нами? Пожалуйста, приезжайте, — говорил Мироненко солидным тенорком, пытливо осматривая меня черным блестящим зрачком.

— Народу у нас много бывает. Мы рады показать, как жизнь по-новому строится.

— Давно артель существует?

— Артель, знаете, с двадцатого года, а я в ней с двадцать первого — как вернулся из персидской Красной армии.

Как-то приподнято и горделиво произнес Мироненко — «из персидской Красной армии», переступил с ноги на ногу. Желтые ботинки его мягко скрипнули, словно поддакнули хозяину. Я насто-рожился — хвастает, что ли, председатель?

В артель мы выехали в воскресенье после обеда.

В буйстве зелени разметалась степь. После дождей яростно выпирали вверх тугие стволы подсолнухов, острые вьющиеся листья кукурузы, светлые побеги сорго.

Около куреней акации сгибали книзу ветки под тяжестью пахучих гроздий, легчайший ветерок веял по степи чуть слышные терпкие запахи.

На горизонте, в трепетной синеве марева развернулась густая темная кромка садов и рощиц — вдоль речки Первые Кочати.

Спокойствием и сытостью дышала степь под мягкой густой синевой кубанского неба.

Молочные реки, кисельные берега...

Ханов, неизменный мой спутник, и кучер наш, разухабистый Грицко, вспоминают про девятнадцатый, про двадцатый, двадцать первый — горячие года. Грицко усыпает рассказ смачным матом, говорит, как он осенью переплыл Кубань, убегая от белых, как булькали в воду окслю него пули — казаки стреляли по беглецу с обрыва.

— Як нырну, то ничего, а як голову высуну, так кругом как забулькатит, забулькатит!

После разгрома белогвардейцев война еще не кончилась: по всей Кубани шумели бандитские отряды, от станицы до станицы надо было ехать с отрядом, как когда-то сотню лет назад ездили здесь с «оказией». Из каждого куреня того и жди бандитскую пулю!

— Поехали наши ребята из Донской в Старомышастовскую, — говорил Хлынов: — это уже после Пржевальского восстания было, зимой банда Пржевальского вон тем трактом на Краснодар шла... Только отъехали верст пять — банда, сабель двадцать. Всех порубили, исказли...

Зимой двадцать второго года на борьбу с бандитизмом подняли все станицы, — было это уже после объявления двух амнистий тем бандитам, кто раскается и добровольно сложит оружие.

Станицы вышли на степь. Курени запылали.

Вставало над степью кровавое зарево, пламя вымывало из степи зверя и недоброго человека. Тугие январские ветры умывали степь дождями, присыпали пепелища чистым снегом.

Было это последнее на Кубани пожарище. А потом из года в год яростью хлебов пошла полыхать степь, наша степь.

Безвозвратно минувшее, заросло оно зеленой гушиной на вспоенных кровью просторах.

Пылай же, степь, жадным и сильным дыханьем своим каждую былиночку согревай, выпестовывай радость и силу в человеческих сердцах, раздольная наша степь!

За речкой Первые Кочаты угнездилась артель «Братская жизнь».

Речка продирается сквозь стены идущего высоченного камыша, кое-где раздается камыш, — чистинка зарастает рябой ряской, зацветает ярчайшим лягушечьим шелком.

Над речкой режут зной ласточки, неслыханные тучи комаров тянут пронзительное звенящее: зз-ной...

В осоке и в куче у берегов шныряют кулики, утки, стороной сторожко проплывает чернобурый вор — коршун.

На берегах палку воткни — палка зацветет. По обоим берегам пышные сады, по краям садов часовыми стоят чутколистные высокие раины, как бравые казаченьки на плацу.

Когда-то тут осел помещик Оксюк. В двадцатом году землю у него отобрали, сам он где-то подох, а в усадьбе, обкарнанной со всех сторон, зацепилась как-то и сидит до сих пор Оксючка. Артель заняла пригорок за оксючкиным логовом.

На артельном дворе нас встретила целая дюжина лохматых псов.

Двор артели — добрых две десятины. По ту сторону — у маленькой похилившейся хатки сидели женщины. Лиц их не было видно — сверкали лишь яркие цвета праздничных одежд.

Примыкает двор к речке. Над спуском к воде — вонючим рядом стоят свинные катухи, коровьи стойла.

Саженой на пятьдесят — параллельно реке — вытянулся длинный одноэтажный дом из самана, крытый железом, окна на обе стороны. С других сторон двор замыкали конюшни, амбар, хатенка, к которой был пристроен навес для машин.

В прогале между навесом и домом — стояли два трактора, коренастые, сине-серые, выставили в степь ослепительные соты радиаторов.

По двору табунились утки, гуси, куры, выводок мордастых голопузых ребятишек.

Мы познакомились с подошедшими артельными и пошли на квартиру к председателю. Жил он в длинном доме. Было в этом доме 5 квартир.

Мироненко встретил нас хмуро, протираал кулаками глаза и был какой-то кволий.

— А-а, приехали? Ну, садитесь.

Квартира у него — небольшая комната, перехваченная надвое желтой занавеской. На стенах — портреты вождей, картинки, разубранные пунцовыми бумажными розами. Тут же портрет самого хозяина, работы сынишки его, ученика Вальяновской профтехшколы, от чистого сердца изобразившего акварелью не то турка, не то грузина.

Мы уселись за столом, Мироненко взял со столика — из тощей кучки газет и журналов — папку.

— Да. Интересуетесь артельной жизнью? Строим новую жизнь, пробиваемся вперед, — степенно начал Мироненко.

За желтой занавеской кто-то упорно возился, председатель украдкой поглядывал туда. Перебили мы, видно, председательскую послеобеденную утеху.

Вылезла, наконец, из-за желтой занавески председателя жена.

В комнату набились артельные, — кто присел на корточки у печки, кто пристроился на сундук.

— Теперь жизнь у нас стала лучше, народ укомплектовался подходящий!

Мироненко весь серьезный и строгий, серьезные и строгие лица всех артельных. У меня не выходит из головы заноза: персидская Красная армия и желтые ботинки с острыми носками.

— Сколько же у вас народу?

— Одиннадцать семей, пятьдесят четыре едока. Все бывшие партизаны и красноармейцы. Только одна семья вольная.

— Расскажите историю артели, товарищ МIRONЕНКО.

Председатель бросил крутить в тугие жгутики черные свои усы, взглянул внимательно и, видимо, удовлетворившись живостью моего интереса, успокоился и взялся за усы.

— Организовалась артель в двадцатом году. Сразу пришли в артель семнадцать семей. Дело, конечно, новое. Надавали им всего — и худобы и инвентаря. Все пропало! Если б вот нам теперь столько дали! — МIRONЕНКО вздохнул завистливо и безнадежно. — Кто артель организовал — мы не знаем. Плохо организовал — такой народ в артель набрался: кто от подразверстки спрятался, а кто и собезовку пришел искать.

В комнате было тихо. Артельные слушали МIRONЕНКО внимательно, на лицах у всех была свободная уверенность в себе и простота. Лица больше были молодые, празднично выбритые. У печки сидел парень лет двадцати трех, с веснушками, отсвечивающим изнутри лицом, одетый в защитный френч. Вымазав чуть рукав о печку, он старательно чистил его носовым платком.

МIRONЕНКО — смуглый и спокойный — нагнулся над столом, важно перекладывая бумаги и, не спеша, обдумывая слова, рассказывал.

... — На плохих дрожжах заварили артельную опару — не прошло и года, как из артели посыпались одна за другой семьи. Почти все имущество было проедено.

Председатель вдруг умолк и — как тогда, в совете — иным голосом сказал:

— В июле двадцать первого года возвратился я из персидской Красной армии ..

Я вдруг ясно почувствовал, что это не хвастовство: всегда, всюду будут вспоминать и говорить бойцы о персидской, таманской, об астраханских песках, о Перекопе.

Стремится, бежит время, в неудержимом потоке уносит молодые жаркие годы, вымывает быстро день за днем. Оглянешься — а уже позади в теплом мареве уплывают молодость, великие радости юных дней... Не забыть, не забыть ничего... И раны ноющие к ненастью, и острые ножи невзгод, хватавшие когда-то до сердца — думать о вас без ласки и дрожи сейчас нет сил... Времечко, пыл, жар!

...В июле двадцать первого вернулся из персидской Красной армии политрук Федор Васильевич Мироненко, раньше — казак 1-го пластунского закавказского батальона. Через неделю по приходе Мироненко уже орудовал в артели, куда привел с собой еще четыре красноармейских семьи.

На первом же собрании, поддержанный дружной своей оравой, Мироненко заявил:

— Кто не работает — будьте любезны, освободите нас. Государство дало пользоваться, это вам не собезовка, а трудовая артель.

Вскоре остались в артели только пришедшие с Мироненко красноармейские семьи, да от прежних

осталась семья старика Павленко Сергея Леонтьевича, старым своим нюхом разгадавшего вернейшую дорогу в чащобах человеческой жизни.

Инвентаря живого и мертвого — было в то время у артели — на полтора целковых, построек — никаких, голый яр. Старые артельные и жили в станице, проедали добро.

Из станицы, с хуторов — густо шли кулацкие угрозы.

— Наши придут — ни одного детеныша не оставим...

Наматывалась зима двадцать второго, — артельные, вышедшие из станицы, жили на голом яру, в шалашиках...

И тут снова дрогнул голос Федора Васильевича, дрогнули и лица артельных, овеянные прошлым...

...Зимними студеными днями, под дождем и под осыпью снегов, строили артельные первый свой курень.

Горели костры, вязкий и терпкий дым кизяка рвался на клочья калеными ветрами. На кострах артельные грели воду и глину, лепили кирпичи, отпливали курень.

Ночами, укутав скудной одежкой женщин и детей, мужики коротали время у огня. Ночам этим, казалось, не будет конца. Свисали над голозой колючие, свистящие в ветрах звезды, за речкой, в оксучкином саду ходили зеленые волчьи очи.

Было совсем, как на позиции...

До двадцать четвертого года в артели было пять семей, эти пять семей и вынесли все тяготы невиданного в округе почина.

Мирная земля за каждое зерно давала полной горстью. Медленно, медленно вставала на ноги артель.

Жизнь артельная то-и-дело зарастала бурьяном и сорняками. Во время дележа были неисчислимые скандалы.

Женщина вдруг замечала, что соседка взяла лишнее ведро помидор, да каких помидор, — сперва собрала крупные, мясистые — сама кровь.

— Второе? Скоро всю бахчу до себя унесем? — дрожащим от возмущения и, пожалуй, и зависти голосом высказывалась первая.

Помидорная стяжательница ставила ведро и открывала звонкий огонь, уткнув руку в бок, а другой давая направление огню:

— А ты уже увидала? Увидала, сука глазастая? А с Марькой огурцы кто брал? Две грядки — бугай слизнул?

Случившаяся вблизи Марька вступилась за свою честь.

Ребята бежали в курени с криком:

— Мамка, иди, тетка Марька тетку Липу по морде бьет.

Над артелью вихрем вставал плач, гам, крик.

Мироненко бросал работу, бежал разнимать схватку, вечером созывал собрание, на котором была долгая всеобщая брань.

— И смех и грех, — сказал, смеясь, Мироненко. Дружно смеялись все артельные, кое-кто, правда, конфузливо — было, видно, что вспомнить...

— Работали мы хорошо, — продолжал председатель, все — один перед другим. А пока разобрались — скандалов было — страсть. Спросить не у кого, до всего сами доходили...

В комнату вошел высокий, широкий в плечах старик. Густая черная борода, чуть подернутая седой, спускалась на высокую грудь, лицо было тихое и светлое.

— Сергей Леонтьевич, здравствуй. — Мироненко поднялся из-за стола, приветствуя старика.

— Приходи, садись вот сюда. Это наш самый старший житель, товарищ Павленко.

— Та сидайте, сидайте, я трошечки послушаю, — отмахивался старик.

— Ну, как, Сергей Леонтьевич, не обижают вас молодые? — шутливо спросил я его.

— Ни, хлопцы у нас гарны. С такими хлопцами дивись, какое хозяйство поставили! — Павленко даже привстал и посмотрел в окошко. Потом тихо и твердо сказал:— В шалаше сначала жили, не дрались, а теперь в доме живем, — будем ссориться? Сейчас и умирать не страшно, умру здесь, никуда не пойду. Старик внезапно умолк, в светлых синих глазах его стояло еще что-то невысказанное и хорошее.

— Он у нас патриот! — заявил тракторист Талан, смехом прикрывая теплую свою взволнованность словами старика.

...Сейчас в артели строгий распорядок всему. Утром все на работу, отказываться от физической работы

никто не может. Распорядком работ ведает помвод — из самих же артельных.

Работу учитывает табельщик — счетовод, рабочий. Он следит не только за выходом на работу, но и за длительностью рабочего дня.

Раньше артельные работали чуть ли не круглые сутки. Сейчас установлен десятичасовой рабочий день. Работают все, конечно, гораздо больше — и двенадцать и четырнадцать часов, особенно в горячее время.

Уладилось дело и с распределением продуктов. За каждый рабочий день положена плата — 50 коп., за каждый сверхурочный час — 5 коп.

— Получаем все поровну, — сказал Федор Васильевич с достоинством и, чуть смутившись, закончил:

— Мне как специалисту, — кузнецу и слесарю — собрание положило рубль в день, но я отказался.

Обобществлено в артели: все машины — полный гарнитур! — лошади, пашня. Земли у артели 97 десятин, да еще арендует артель у вальяновцев 110 десятин.

С огородами после помидорных и огуречных сражений артель сделала так:

— Пахота и бороньба — общее, а потом делят на части, и каждая семья уже сама разделявает грядки.

Мука отпускается каждой семье по потребности, по числу едоков, цена берется государственная — высчитывается из зарплаты.

Веселой гурьбой осматривали мы хозяйство артели.

Около большого дома — против каждой квартиры — были нагромождены ящики, клетки, густо загаженные птичьим пометом, отравляющим воздух.

— Что это такое? — спросил я, удивленный.

Артельные сконфузились. Глядя в сторону, Мироненко с горечью сказал:

— Это позор нашей артели.

— Индивидуальность, — разъяснил кто-то из артельных.

Позор артели — частная собственность на коров, свиней, птицу, — каждая семья сама возится с этой живностью. Оттого после общественной работы женщины канительятся еще до поздней ночи в коровьих стойлах, в свиных катухах, с птицей.

Посередине двора — словно часовой — торчит фонарный столб, около него веером расположены шесть паршивых глиняных печурок:

— Вот еще наша беда, — огорчается Мироненко, — питание у нас врозь. Опять женщинам работа: со степи усталые придут, да еще за горшки, за макитры — обед варить. Строим, всн, смотрите, печку, чтобы хоть хлеб сразу на всю артель печь.

— Что же вы коммуны не организуете?

— Подумываем. Сама ведь жизнь толкает. Мы-то все хоть сейчас. Дело у нас за женами (Мироненко ни разу не сказал — бабы) — собственники они у нас большие. Да и они поговаривают о коммуне. Пусть сами надумают. Силком этого делать нельзя. Лучше подождать, а осенью и на коммуны повернуть артель.

— А новых членов думаете принимать?

— Конечно, как же. Мы сейчас не берем, потому что жить негде. С жилищами у нас очень плохо, на всех нехватает и сейчас, а кредитов не дают.

— Что же вы много должны, что ли?

Мироненко обиженно раздул ноздри, глянул с сердцем:

— Мы в этом году только кредит взяли, восемь тысяч, на постройку сараев для скота да амбара, а то ни копейки долгу не было! Артель мы крепкая. У нас капиталу своего двадцать шесть тысяч, а начали с полутора ста рублей. В этом году у нас чистой прибыли две с половиной тысячи. Да если бы у нас жилища были, мы сейчас же набрали бы народу. Нам ведь тесно стало.

— Как тесно?

— Земли мало. Два трактора выедут пахать трактористов там две смены, а остальным и делать нечего.

— Лучше, чем в станице-то у вас?

На меня обрушилась гора обиды — артельные заговорили все разом:

— Разве в станице мы встали бы на ноги?

— Там дуешь от темного до темного, жилу надрываешь.

— Тут мы гуртом — шутки, что ли?

Мироненко повел нас под навес с орудиями. Тут были и косилка, и веялка, и культиваторы, и мощные плуги.

— У нас все машины есть. Только работы давай. Да ведь мы уже вспахали весной вальяновцам больше ста десятин и брали-то всего по семь рублей с десятины.

— А как с ремонтом?

— Все сами. За два года ни одной копейки на сторону не заплатили. У нас своя мастерская полная, вальяновцам даже ремонт даем.

Стоим у тракторов на пригорке, в прогале меж домов — вечерняя степь, желтеющая под солнечным дождем. За рекой приветные и мягкие своды дубравы. Тракторист Талан — промасленный и прокопченный, ослепительная прорезь зубов — тяжелой и черной своей лапой постукивает по боку «фордзона»:

— С этой силой нам — о-го! — дай развернуться!

Приходим в конюшню, где оглядываются на нас большим сверкающим, вспыхивающим вдруг красным огнем глазом девять артельных лошадей, жуют теплыми толстыми губами. Сергей Леонтьевич притворно сердито кричит на них, похлопывает по широким крупам. Он — старший и единственный конюх, от других работ его, старика, освободили.

За конюшнями по взлобку разбит молодой сад. Четыреста деревьев посадили артельные — сливы, груши, яблоки, — чего только нет.

Федор Васильевич дорогой говорит — с жаром, с пылом:

— Вокруг нашей артели надо еще артели насадить, чтобы кучкой мы были, — тогда и помочь легче, а

без поддержки нельзя. Вон на Красноматвеевском — ребята хорошие, партизаны, а как никто не смотрит — сейчас же напьются, наскандалят. Я был у них с докладом. Говорю — не указываю на них, как будто пример беру со своей артели, а сам все ихние дела опозорил. Им не обидно, не их прямо ругал, а до сердца дошло. Говорят — приходи чаще, помогай.

— Станичным коллективам тоже надо помочь, — говорил Талан, правая рука председателя.

— Верно. Вы знаете, сколько в станице хотят организовать? Полстаницы можно в артели втянуть. К нам чуть не каждый день ходят. Пришли раз человек двадцать — из Динской — мужчины и женщины.

«Можно, говорят, зайти в хату?» — «Пожалуйста». Вошли, переглядываются. Один и говорит: «Извиняюсь, можно спросить, это ваши кровати?» — «Наши». — «А нам казали, что у вас казарма, посреди стол, а кругом нары, спят кто с кем попало». Смех. Целый день у нас пробыли, а потом говорят: «Та и мы в артель пойдем».

— К нам от кулаков разведчики ходят.

— Как это?

Федор Васильевич рассказал, что однажды утром пришел старый кулачина Лущенко, когда-то ходивший в станичных атаманах. Лущенко пришел с удочками, сел на том берегу против артели, — словно и впрямь удит рыбу. А сам — как гусак из осоки — вытянул шею, высматривает. Сидел он часа полтора —

удочки так и остались неразмотанными. Потом, видно, не утерпел, перебрался через речку.

— Что вам? — нарочито сердито спросили его смотревшие за ним с самого начала артельные (день был праздничный).

Кулак заискивающе улыбался, тряс пучок сухих удочек.

— Рыбку удил, да дай, думаю, посмотрю, как добрые люди живут.

Старик Павленко протянул даже:

— Ат сатана! Добрые люди!..

— Показали мы ему все, рассказали, конечно, — закончил Мироненко и вдруг сокрушенно вздохнул: — Был я позавчера в нашей комячейке, в станице. На стенах везде плакаты лозунгами о коллективизации...

— Ну и что же?

Федор Васильевич тихонько сказал:

— Я могу рассказать потом, здесь беспартийные...

Я спросил, как они провели хлебозаготовки.

Все стали улыбаться. Мироненко сказал, обращаясь к молодому парнишке, смуглому, — в расстегнутый ворот рубахи его были видны сильная стройная шея и грудь.

— Говори, Ваня, ты ведь счетовод.

Ваня бойко заговорил:

— У нас это просто. Как пришло извещение — я высчитал, сколько до нови надо. Триста пудов лишние.

Сразу их на сыпку отправили. В колхозную секцию я послал отношение.

Мироненко загорелся опять:

— Когда коллективизируем станицу, тогда и хлебозаготовок не надо будет — послал нарочного, а утром — хлеб на сыпке.

По двору бегали ребятишки — многие уже артельного урожая. В артели двое женились, жен взяли из станицы, одна девушка ушла замуж в станицу.

— Напрасно ушла, — пожалел Беседа, Иван Яковлевич, тот — в защитном френче, что чистил его у Мироненко в комнате, — тащила бы сюда мужика. Мы тут такую роту вырастим, — сами под ружье и ребят под ружье.

Слова эти были не только шуткой бывшего красноармейца, пришедшего в артель два года тому назад с тощим вещевым мешком — все имущество. Артельные свою жизнь связали с советской властью, вне которой — им не жить, за которую сложат они светлые свои головушки.

Много еще невзгод у артели. Школы своей нет: в прошлом году занималась учительница — утром с детьми, вечером со взрослыми, да неважно как-то ученье шло. Надо добиваться школы. В станицу, за семь верст ребятишкам ходить нельзя. Совсем почти нет в артели книг, — передвижка к ним не заглядывает, а зимой скучно.

Все артельные застрахованы по соцстраху, но к доктору ходить далеко, совсем не с руки.

— Еще одна болячка у нас есть, — говорили артельные.

— Какая?

Артельные показывали на постройки помещицы Оксючки, выглядывавшие из-за зелени сада.

— Ну, скажите, почему до сих пор помещица живет? Неужели выгнать ее к чортовой матери нельзя?

Перед отъездом мы прошли в сторонку, и Мироненко с горячей обидой заговорил:

— Как вы думаете — ячейка наша занимается коллективизацией? Разговорами она занимается. В станице товарищество «Коллективист» под носом у Ядровского, и то не займется, а то ведь того и гляди рассыплется «Коллективист». Говорил я им, говорил — а дела нет...

Федор Васильевич горел, волнение его было молодо и жарко. Большой и несуразный, был он словно налит силой, крепостью, новыми просторами — во-жак угнездившегося в безграничной степи крепкого советского ядра — нутряной коммунист.

Уносили нас кони, за рекой, на яру долго была видна артель, но вот закрыла ее рощица, а голова сама все оборачивается назад, а на сердце тепло, тепло...

КОНЕЦ

Работы у нас с Хановым становилось все больше и больше. В станичную жизнь приходилось уходить

с головой, к каждому вопросу подходя с точки зрения хлебозаготовительных интересов, с точки зрения победы над кулаком, ибо кулак совсем не сдавал позиций.

А в станицах все больше и больше чувствовался накал.

Председатель совета соседней станицы получил письмо:

«Эзърпатор, тиран, апэлес, мучитель народа, подручник Николая II, представляешь кота, играющего с мышей. Ты поставил возле дверей страж подобно тени Ивана Грозного друг твоего по профессии. Чаша терпения переполняется. Но знай,—искра в сердцах казачьих не погасла еще. Дожидай вторую телеграмму. Член отпор кров, чма, эхо, перелет, три волны. Кольцо с ямой».

Над письмом мы посмеялись. Но в другой станице на базаре подряд были вывешены три прокламации, неграмотно, от руки написанные на клочках бумаги:

«Погане житя настало на Кубани. Пиддалися обману врагам. И доки вы запорижски внуки и правнуки будете держать чашу в руках горьку?

Ой, вы пили повну чашу та че изверхом, запорижски статки, и продали свои души за виру батькив и матерно слово, шо для тебе сыну бог создав чистое поле и лошадку з быстрыми глазами и чуткими ушами спокон вику и до вику с коня ны злазыть. Главнокомандующий всым передом казацким Перед Пивин».

Это было гораздо хуже, — знали об этом все по старому опыту.

Но в какой мере все это идет? Что делается там, в станичных глубинах? Прощупывать нам досконально

не удавалось. И мы опять налегли на массовую работу, на закупочные комиссии. Кроме того, мы поставили перед собой задачу — провести полное кооперирование населения, собрать членские взносы в ККОВ. Как-никак, это были дополнительные экономические рычажки в помощь хлебозаготовкам.

И кооперирование по Вальяновской пошло не плохо:

По сельхозтовариществу на 1 мая было 865 пайщиков, паевых взносов — 6.284 руб. и вкладов — 7.720 руб. К 15 июня пайщиков было уже 946 человек, паевых взносов 7.181 рубль, вклады же уменьшились до 6.768 руб. 21 коп.

По ЕПО на 10 мая пайщиков было 3.028, паевого капитала — 21.253 руб. 31 коп., а вкладов — 494 руб. 78 коп., средний пай — 8 руб. 70 коп.

К 15 июня пайщиков стало 3.221 человек, паевого капитала — 3.064 руб., средний пай поднялся до 9 руб. 33 коп.

По ККОВ'у в короткое время собрали членских взносов свыше 1000 руб. В это время ККОВ, наконец, удосужился убрать и отремонтировать паровые молотилки, стоявшие без призора на стансоветском дворе.

Эти очевидные успехи поднимали у товарищей дух.

Хорошую работу провели среди беспартийной молодежи комсомольцы. Они организовали в разных концах станицы «комсомольские улицы» — сборища молодежи, на которых побеседовали и, главным образом, повеселились. Результатом этих улиц было то, что молодежь указала на трех кулаков, скрывших

хлеб. Хлеба у них нашли пудов 100. Это нас крепко выручило.

Хлебозаготовительные диверсии на хутора Адыгее-Черкесской стороны дали нам возможность не снижать темпа хлебозаготовок в течение дней пяти, а потом заготовки постыдно снизились. Наши закупщики совсем упали духом. Бараненко опять покрикивал:

— Да чего там смотреть? Нажать надо хорошенько.

Подумывали о нажиме и другие товарищи. Приходилось их сильно сдерживать. Да и не только станичные работники думали о нажиме.

Мне опять пришлось объехать ряд станиц с секретарем райкома. Мы двигались по следам председателя районного исполкома Миронова, который тоже катил по району, подталкивая и инструктируя работников.

Миронов восторженно рекомендовал новый способ воздействия на хлебобобов, который применяли в одной из станиц. Способ этот состоял в том, что закупочные комиссии были вооружены огромными щупами. Оружие это — длинный железный пруток, на конце заостренный подобно зубцу у остроги, в зубце же углубление. Острый железный прут легко проникал не только в солому, но и в землю, и когда извлекался назад — в углублении было то, до чего проникнет (земля, зерно, полова).

— Замечательный способ. Обязательно сделайте, — говорил Миронов в станицах. Но это значило, что обыски-то продолжались.

Старокорсунский закупщик Омехин рассказывал:
— Сделал я себе такой шуп и пошел. Прихожу до Приймака, и сам ему под глаза шупом, чтобы видал. Он как посмотрел, так на том месте и помер. «Товарищи, говорит, не ширяйте сюда, здесь хлеб».

Секретарь райкома высказывался тоже за нажим:

— Надо сохранить возможность административного нажима на середняка, иначе хлеба не будет.

На ячеевых собраниях он рекомендовал:

— Надо улучшить работу закупочных комиссий.

Закупочные комиссии должны убедить хлебороба продать свои излишки. Надо не ограничиваться тем, что спросить через забор — есть хлеб или нет, и все. Надо зайти к нему во двор. Сесть, поговорить, совместно с самим хозяином обсудить вопрос о его излишках. Ничего зазорного нет, если и в амбар вместе с ним войти.

А когда я заспорил с ним, он немного обиделся, потом задумался, потом стал искать виновника во всех затруднениях с хлебом, как это очень часто бывает. Нашел он его совершенно неожиданно для меня:

— Это Микоян виноват.

— Как, что? Позволь, позволь. Да ты сталинскую статью читал?

— Что там статья! Прозевали во-время вопрос, вот и все.

Я опешил, потом рассмеялся. А потом, когда хлебозаготовки по всему району катастрофически пошли вниз, как-то незаметно стал высказываться на ин-

структивных собраниях за то, чтобы закупочные комиссии совместно с середняком у него дома обсуждали вопрос об его излишках.

Секретарь райкома вслух тосковал:

— Хоть бы еще недели три продержаться, до нового хлеба.

Хлеб в степи уже вызревал. Тугой волной ходили пшеница, ячмень. И удивительное дело: даже на считавшихся пропавшими посевах озимой колос был тучный и тяжелый. Хлеборобы говорили, что с самой плохой десятины пудов по 20—25 выйдет.

А хлебозаготовки с ужасающей быстротой шли на нет. И опять мне вспомнились слова из решения апрельского пленума ЦК, приводимые на совещании секретарей краевого комитета партии:

— Все административные меры понуждения, практика нажимов и перегибов в отношении середняка— дадут длительный отрицательный политический и экономический результат.

В руководстве округом произошли изменения: за слабость ряда кампаний (хлебозаготовки и др.), за слабость работы с беднотой, крайкомом партии был снят с работы секретарь окружного комитета

В конце июня я был в городе, виделся с новым секретарем. Он рассказывал о том, что перегибы продолжают, что в одной из станиц уполномоченный заставлял вызванных ночью кулаков ползать на четвереньках, кричать: «я дурак», лазить на крышу и кричать петухом.

— Вся эта практика нажима привела к тому, что округ надо вычеркнуть из числа заготавливающих мест. Успокоить надо население. Смотри — ведь рынок совсем завязан, рынка нет. А разве новая экономическая политика отменена? Что это такое?

Это и был «отрицательный длительный результат».

Вальяновская заготовила за пятидневку с 16 по 20 июня 67 пудов 17 фунтов.

Окружным руководством было дано указание о восстановлении внутривостаночных рынков, о разъяснении хлебоборам, что они могут свободно торговать хлебом, не боясь, что этот хлеб будут «закупать» комиссии.

Хлебозаготовки кончились...

НАКАНУНЕ ПЕРЕВЫБОРОВ

ОСЕННИЕ ПОБЕДЫ

В октябре, числа десятого, пришла первая весть ко мне в Москву — из далеких кубанских станиц. Секретарь райкома тов. Боков писал:

«Здорово, дружище. Привет с Кубани. Рад за тебя, что здоров.»

Спасибо за весточку и приглашение. Буду в Москве — непременно зайду.

Мы коротаем дни кампаниями. Тяжело. Очень тяжело. Но привыкаем. Радуемся результатам, а они огромны. И от этого еще больше радости. Район по-прежнему ходит петухом, гордый, а как же не гор-

даться? Идем впереди по всем выполнениям. Закупили на корню 100 тысяч, контрактировали 60 тысяч десятин, распространили займа на 150 тысяч рублей, и все это за счет массовой работы. Вот когда мы сильны, а сила, оказывается, была с нами. Странно? Ну, вот я вдался в рассуждения. Ну, некогда, еду в станицы; с приветом Б о к о в».

Письмо это порадовало и взволновало, — в памяти прошли жаркие дни весенних и летних хлебозаготовок, люди, невзгоды.

Как-то в станице сейчас? Короткие сообщения в газетах кричали, что Кубань выполнила хлебозаготовительный план с огромным превышением...

Но как же сейчас там?

Выехать на Кубань удалось лишь 17 ноября. В Москве было сухо и холодно — перед льдом и снегом. За Воронежем потеплело, под Ростовом уже шли мелкие и наянливые дожди, на Дону косматилась под дождем вода, каюки и баркасы черными табунками улеглись на берегу.

Ростов и Нахичевань долго смотрели вслед поезду величественной суматохой вечерних огней, просыпанных щедро по могучим буграм над рекой, как тяжелое зерно в сусеках донского портового элеватора.

И вот — уже слышна мягкая кубанская мова, на редких полустанках гуторят хлопцы в смушковых кубанках с малиновыми и алыми верхами, голосистые девчата.

Райисполкомовская машина прогудела по краснодарским улицам — через окраину Красную Дубинку (и выдумали тоже кубанцы — Красную Дубинку!), через хутор Калининский, станицу Пашковскую — в степь к Вальяновской станице.

...Лишь вчера, 20 ноября, на Кубани начались дожди. Они сыплются с тяжелых, набрякших туч, засыпая дали, сбивая неожиданную для глаза позднюю и бледную зелень акаций, каленую медь дубовых листьев.

Степь раздается влажным и нежным' размахом озимых. Кое-где под дождем еще допахивают. Лошади идут тяжело, круто водя лоснящимися мокрыми боками, от них идет пар. Сырая земля, взодранная лемехами, отваливается сочно и плотно.

Станичники уже отпахались и отсеялись.

«Тяжело, очень тяжело», — писал секретарь райкома. А это значило, что — как и весной — станичные советы и ККОВ'ы были кипучими штабами, что работники сбились с ног. К концу лета, когда уже очевиден был недостаток семян для озимого посева, было ясно: над Кубанью, над районом нависла угроза сокращения озимого клина. К ноябрю было засеяно лишь немногим больше двух третей плана, а близилась осень с кубанской несравнимой ни с чем грязью, когда не только пахать, — проехать порожняком до соседней станицы — целый подвиг: грязь чудовищными комьями навертывается на колеса, и самые добрые кони пристают через десяток верст.

В станицах работали по ночам, напрягая все силы. Как весной — были мобилизованы все тракторы, заключались договоры с инвентарными хозяйствами на обработку земли беднякам. В порядке контрактации по району было роздано населению 70 тысяч пудов зерна, 273 тысячи с лишним рублей на покупку семян, на 21.669 рублей машин. Отпущено чистосортной ссуды — 7 тысяч пудов, бедняцкой ссуды через сельхозкооперацию на 45.000 рублей, на общественные запашки — 16.000 пудов, яровой ссуды — на 21.120 рублей.

По району дано всего ссуды на 465.806 рублей.

И к дождям задание по району было выполнено почти полностью.

Секретарь райкома товарищ Боков, заваленный и измученный работой, работающий вдвоем с машинисткой (заворг и завапо сокращены округом по рационализации аппарата) — товарищ Боков, один подготовивший все к пленуму райкома, ругающийся и негодующий на слабость местных работников и сам ежедневно вырывающий часа по полтора для общеобразовательной подготовки, — говорил:

— Слабых мест много. Но хорошо, что есть чем порадовать себя. Ты знаешь, как всех подбодрила успешная посевкампания.

Идет дождь. Шестисильная машина жужжит, как пчела, по юртам Пашковской, Старокорсунской, Вальяновской. По обе стороны дороги — и как глаз видит — седоватая кучистая зелень озимых.

Район отсеялся...

СТАНИЦА ГУЛЯЕТ

Днями сейчас станичные улицы пусты. И даже собаки, свирепейшие кубанские собаки, которые не впустят во двор чужого человека, даже собаки утихли, не бросаются вслед проезжающим, лишь провожая их злобным взглядом и рыча.

Станица отдыхает после работ, станица сейчас гуляет.

В станице Вальяновской я остановился по-старому — на общественной квартире, у Попова Михаила Павловича.

Утром в его горнице граммофон вдруг заиграл гопака. Я заглянул туда. Пожилой сивоусый казак в старой шинели и хлопец в пиджаке — откалывали друг перед другом гопака. За столом сидели две женщины. Хозяев я нашел на кухне.

— Гуляем, — усмехался Михаил Павлович, потягивая книзу черный густой ус.

— За мной пришли, на свадьбу зовут, свадьба позавчера была, а это подгуливаем.

Он хитро посмотрел карим глазом:

— Я живу весело. Отсеялся, за семенами ездил аж под Кушевку, у нас из станицы многие ездили. Налогов не боюсь никаких. Немного как будто и несправедливо — в этом году я плачу 195 рублей, а в прошлом 94 рубля. Кто его знает! Я сейчас гулять буду! На свадьбу поеду!

Михаил Павлович заспешил, не стал больше говорить.

Свадьбы, гости — больше ему ничего пока не надо. Верно ли, Михаил Павлович? Верно ли, что вам, старому казацкому уряднику, почтенному многими знаками отличия до большевиков, в доброе старое время, а сейчас обложенному налогом по заслугам — верно ли, что больше ничего не надо вам? Вы сказали:

— Перевыборы? Кто е знает!..

Почему же поздно вечером, на свадьбе, когда головы уже пошли кругом, из глаз сочится слеза, а головушки клонятся на плечо к соседу, а то и прямо на стол, в чашку с квашеной капустой или еще с какой-нибудь снедью, — почему дерут охрипшими дикими голосами гости песню, старинную казацкую песню — подчеркивая какой-то новый смысл в старых словах:

Ой, колись мы панували,
А тэперь не будем,
Того счастья, тии доли
Повик ны забудем!..
О, доки ж мы, браты мыли,
Ой, будемо спаты,
Чи ны чуите, як плаче
Ридна Кубань-маты...

О перевыборах — кто е знае? Но почему же на свадьбы приглашаются батраки и бедняки, усиленно угощаются, после чего они должны клясться и божиться, что на перевыборах в совет они подадут голос за «своих», хозяйственных граждан?

Это же ведь факты, что

«в станице Тимошевской кулак Иван Резец закатил свадьбу, которая ему обошлась в триста рублей. На этой свадьбе была вся беднота поселка, где живет кулак. Сам кулак произносил тосты «за успешное проведение перевыборов советов», «за выбор наших людей», «за благоустройство станицы работоспособным «нашим» советом.» А кулак Васильченко прямо говорил, что:

— Як бы мене выбрали в совет, так я б робыв не на жизнь, а на смерть...

— В Старовеличковской кулак, угошая самогоном ба-трака,— внушал: «Пей, бисова душа, да знай, что скоро перевыборы»...

Почему сейчас свадьбы устраиваются как раз в тот день, когда назначены предвыборные собрания с отчетами стансоветов, и народ усиленно приглашается на свадьбы? В станице Пластуновской в день такого собрания было 12 свадеб, а в Платнировской целых 22 — с целыми обозами тачанок, линеек и фур, с разукрашенными гривами и хвостами лошадей, с разряженными невестами и в дым пьяными шаферами, с гармошками и песнями? Собрания в этот день, понятно, не состоялись.

Но и в ближайшие дни они не состоялись, потому что надо было догуливать свадьбы, а потом вывозить невест с приданым, когда можно по-старинному обычаю, собравшись дружной гурьбой, не давать открыть ворота до тех пор, пока хозяева не выставят, по крайней мере, с ведро водки? Ну, а если ненароком будет при этом недовольство хозяев, и кто-нибудь из них еще выругается — можно устроить веселую свал-

ку, а в свалке — как на днях у казака Радзивилло — сундуки побьют, а невесте ногу сломают, тоже бывает. Лишь бы весело было! Лишь бы народ был тут, а не где-нибудь на собраниях.

Станица гуляет... На свадьбе, в гостях — за широкой дружеской беседой можно поговорить по душам.

Старокорсунский кулак Лопуховский — как он ловко объяснял:

— Кто ты такой — кулак? А потому я, каже, кулак, шо роблю день и ниць, а прихожу до дому — цыбулю зым и кладу кулак под голову и лягаю спать. О це я и кулак. А почему ты середняк? — То такой чоловик, шо у него впереди сумка и сзади сумка. О це он и середняк. А бедняк? — Бедняк — шо носить сини галифе и шовровы сапоги и портфель. У него больше ничего нема. Шо на ем — то и его.

И он же, Лопуховский, сказал:

— Тильки мы, кулаки, и держимо советскую власть и бедноту.

Да мало ли чего было сказано в эту пору.

— Советская власть всех пролетаризирует и хочет организовать в коммуны.

— Советская власть дает на копейку, а берет на рубль! Непонятно? Так послушайте песенку об этом:

Мы не сеем,
И не жнем —
Контрактацией
Жи-вем!

Мингрельские кулаки прямо из-за свадебного стола подкатили десятком тачанок к лавке ЕПО, в которой было полно народу. Поезжане — разодетые и разукрашенные — вылезли из тачанок, бережно провели в лавку полуголого мужчину в женском тряпье и полуголую женщину в мужском.

— Бувайте здоровеньки, люди добри! У вас товаров нема, так мы вам привезли. Не дадите ли цему гражданину кожи на подметки, а цей гражданочке манухвактуры на юбку!

Платнировцы решили погулять по-особому. У кулаков Павла Боцмана и Абрама Шевченко состоялся праздник... георгиевских кавалеров. Да, да, георгиевских кавалеров. Была отслужена панихида по убиенным и павшим на поле чести, а потом пошел пир. Духовой оркестр гремел военные марши — «Под двуглавым орлом». Сладкие застольные речи были о старых временах, отцах-генералах. Георгиевские кресты и медали всяких степеней украшали груди кавалеров. Некоторые из них целый день разгуливали по станице с крестами и медалями...

Станица гуляет. Но есть в станице и «деловые» люди. Такой «деловой» человек, которого, видимо, по ошибке считают кулаком, произнес целую речь на собрании бедноты в станице Ново-Лабинской:

— Прежде всего, товарищи беднота, сообщаю вам, что работа члена совета весьма трудная. А если принять во внимание, кто нами руководит и куда нас ведут, то я заранее вас прошу, товарищи беднота, меня

не выбирать, так как это приносит вред моему хозяйству...

Зато в станице Некрасовской «деловые люди» — кулаки — говорят и делают по-другому. Они сдали в ККОВ шесть паровых молотилок. Они сейчас говорят:

— Мы теперь не кулаки. Дайте нам голос!

Председатель батрачкома станицы Вальяновской Кувика Григорий жаловался мне, что ему мешают работать кулаки, которые приходят за справками о том, что у них нет батраков, что они не эксплуататоры. Прасол Алексей приходил четыре раза. Тот самый Прасол, у которого маслобойный завод (успел продать артели), молотилка, огромная усадьба, дом. Прасола обложили в этом году на четыреста с лишним рублей. Он сказал, что 250 рублей заплатит, а остальные — незаконные — платить не намерен, а затем, подумав, добавил, что раз его незаконно обложили, — он вообще платить не будет. Прошли все сроки. Молотилку его продали с торгов и взыскали налог. В станице же известно, что у него — 2 тысячи рублей наличными есть!..

Я зашел к Прасолу. Дом у него — впору хорошему напману: крашенные полы, пять или шесть комнат, никелированные кровати с пружинными матрацами, хорошая дубовая мебель, цветы.

Прасол Алексей — старый знакомый. Это он летом удрал во время хлебозаготовок в Балаклаву

на курорт. Он заявлял, что он — коммунист, только партбилета у него нет. Сейчас он мне сказал:

— Был я вначале заслуженный большевик. Обидно, как члену республики. Купил я маслобойню, машину, ну, были у меня батраки, так я же им хорошо платил. А тут стал я кулак, лишили меня голоса. Обижают. Так я и не хочу больше так. Молотилку взяли — чорт с ней. Не буду кулаком.

На окне у него — грудка газет, брошюр о налоге, об обработке земли. Прасол аккуратно следит за всем.

Прасол хочет пролезть и в избиратели и в совет, он и не скрывает этого. Прасол созывает не одну вечеринку, чтобы обеспечить себе положение в станице.

Вечером я долго ходил по вальяновским улицам. Было темно, моросил дождь. В пяти или шести кулацких домах гудел народ, шла гульба, гармошка вопила танец — кубанский казачий танец, странную смесь черкесского с украинским.

У ворот усадьбы кулака Хижнего пять станичников, шатаясь и поддерживая друг друга, орали хрипло:

Гей, Кубань, ты наша родина,
Века-а-вечный ба-га-тырь...

Станица гуляет.

ВАЛЬЯНОВСКОЕ БОЛОТО

В Вальяновской станице я попал прямо на заседание в совет. Предсовета Темнов (такой же, как и весной — с мечтательным видом, с огромным чубом,

вздрагивающим, когда председатель строго и внушительно взмахивает головой) инструктировал учителей — как надо проводить учет избирателей.

Это было первое деловое собрание по подготовке к перевыборам советов, это было 21 ноября.

Меня долго не узнавали, узнав — стали оглядывать с опаской. Учитель Гнедко потом мне рассказал:

— Як вы прийшли — оце кажуть, мабуть, той самий вполномоченный. Та и загудели: о-о, о-о.

Пока Темнов разбирался с учителями в инструкциях — я обошел совет. Сейчас он — в кооперативном доме, здание совета ремонтируется. Старший милиционер Бараненко встретил меня прежней, с хитрецой, улыбкой:

— Как живем? Кугутов надо вот таскать да жать.

— Живем ничего.

Разговор перебил крик на заседании.

— Та як же я пийду, як у мене до двенадцати теория, а до шести практика, — кричал преподаватель профтехшколы Гнедко.

Темнов встал и, качнув головой, внушительно сказал:

— Вы ответственные, а там — как хотите, так и делайте.

После совещания Темнов говорил мне про учителей, волнуясь:

— Чем они дальше от советской власти, тем покорнее. А чем ближе к ней — тем коварнее.

— Что-о?

— Когда они ближе, они чувствуют, что им нечего бояться, и работать не хотят.

— Как же ты думаешь поступать?

— С ними надо иметь тон.

— Какой?

— Ну, палку. Или горло. Видал, как я с ними разговаривал. Вызвал и объявил, что они добровольцы по этой работе.

Я спросил его, почему в станице так запаздывают с подготовкой к перевыборам советов. Темнов придвинулся ко мне и заговорил пониженным голосом в котором слышались и обида и еще что-то.

— Очень тяжело здесь приходится работать. И все одному приходится делать. Товарищи наши любят все по-семейному. Я лично не привык по-семейному, говорю прямо в глаза, уже говорят, что я развожу темновщину. У нас члены партии смотрят так: раз интеллигент, то контрреволюционер. А я не верю, что это публика не наша. Надо с ними по-человечески обращаться. Я их втягиваю в работу.

Заявление это меня очень удивило, хотя я и был подготовлен к всяким неожиданностям. Мне уже сообщили, что он крутит любовь сразу с двумя учительницами — поповскими дочерьми.

— Пусть она даже не лойяльная, — продолжал Темнов; — но ее надо использовать, чтоб мокрело. Я говорю, что говорят товарищи Сталин, Бухарин.

— Это так, а зачем ты с поповнами путаешься?

— Ну, путаться мне с ними не первый год. — Он улыбнулся и опять горестно заговорил: — Никто не помогает. Возьми посевную кампанию: ссуды дали только 6 тысяч пудов да деньгами 15 тысяч. Наши хлеборобы обозами ездили за зерном, сами на тысячу двести десятин зерна привезли.

У Темнова все получалось крайне мрачно. И сам он был необычно мрачен. Даже ни разу не сказал, как привык, торжественно и громко:

— Я офицер революции.

Я знал, что он вообще склонен к преувеличениям. В памяти встал такой случай: учителя просили у него тряпок для мытья полов, он отказал. Они настаивали. Тогда Темнов поставил вопрос о тряпках на пленуме стансовета и произнес речь, в которой указывалось:

что выдача тряпок повлечет увеличение расходов, что это в конце концов вызовет увеличение сельхозналога.

Я не успел расспросить Темнова обо всем — он уехал в район.

А меня ждали еще большие огорчения. Путем долгих переспросов почти у всех работников удалось установить:

...В июле отозвали из станиц уполномоченных по хлебозаготовкам. И начались истории. Ядровский — секретарь ячейки с Занченкой — приемщиком ссыпки сельхозтоварищества на стансоветской тачанке уехали в соседнюю станицу пьянствовать. Вернулись

они на взмыленных лошадях вечером, когда у стан-совета собрались поговорить хлеборобы. Ядровский кричал во все горло: «Бабу мне давай, бабу хочу». О станичных работниках, не пьянствовавших с ним, Ядровский говорил:

— Для чего они живут, раз водки не пьют... Ни себе, ни людям.

На партийном собрании Петров, ставший председателем правления сельхозтоварищества, после снятия весной Жадина, поругал Ядровского за пьянство. Выступил он один, остальные побаивались секретарского зажима. Ядровский стал после придирааться к Петрову, покрикивать:

— Ты что это, а? Я тебя сниму.

Но тут осмелели остальные партийцы, устроили перевыборы бюро ячейки. Ядровского переизбрали, а на другой день он уехал куда-то в Армазирский округ.

Во время перевыборов райком дал маху: по всему округу проводилась рационализация партаппарата, т. е. жесточайшее его сокращение, и райком не только не дал опытного секретаря в Вальяновскую, но санкционировал выборы секретарем тов. Кошурко, ведомственного милиционера, читающего по складам и политически безграмотного.

И это для станицы Вальяновской, старинной своеобразной станицы, с ее 11 тысячами населения.

Бедный Кошурко запутался сейчас в бумагах. Он, конечно, не руководит ячейкой.

Темнов в это время был в отпуску. Вернувшись, он почувствовал себя выше всех, взял начальственный тон не только в совете, но и в ячейке, чаще выкрикивал:

— Я офицер-р революции!

А дела — все меньше и меньше. Все больше внимания поповнам. Зачем-то наврал им, что у него строится большой каменный дом в Старомышастовской. По станице пошли слухи. На собрании беднота прямо заявила:

— Когда батрачка идет — он и внимания не обращает, а учительница с накрашенными губками — он заглядывает. Кроме как на учительском собрании, его и не увидишь. Актив у него не мы, беднота, а вон те, в коротких юбках.

Прошел новый слух, что Темнов купил на стансоветские деньги коня и кормит его стансоветским кормом. Петров, услышав об этом, пошел к Темнову в кабинет.

— Правда, что коня купил?

Темнов было отпирался, но потом сознался. А по станице уже новый слух, что он вместе с зампредом Ничаем присвоил деньги, полученные за сданную в аренду хлеборобам землю совета.

Ячейка за это время занималась всякими скандальными делами — и совсем не занималась переборами советов, работой с беднотой. У нового секретаря стансовета (прежний, комсомолец Куприянов, сбежал, потому что Темнов волочил за его женой)

я спросил материалы о работе секций станичного совета. Он мне принес протоколы президиума и пленумов совета.

— А где же секционные дела?

— Я вам их не дал умышленно, потому что в них ничего нет. Только третьего дня созвали культурно-просветительную секцию. Темнов выступал, я пару слов сказал, что основа зиждется на культурно-просветительной работе. Несмотря на принятые стансоветом меры, остальные секции мертвы, ничего сделать не удалось.

...Вот — пишу, живо вспоминается все, под рукой — записи и документы из Вальяновской. И сердце сжимается тревожно и негодуя.

...Площадь озимого посева в прошлом году составляла 8.221 десятину, а в этом году — 3.915 десятин.

С каким трудом досталась бы нашему врагу такая победа, и как он ликовал бы...

Поразило дело вальяновского ЕПО.

Вальяновского ЕПО — одного из лучших на всем Северном Кавказе, известного и за пределами края. В 1926 г. секретарь коммунистической ячейки станицы Остапенко был избран председателем правления ЕПО. Об Остапенке — кубанском жителе — и посейчас вспоминают бедняки и середняки.

— Гарный був хлопец. Никогда не сидел. Всегда везде сам ходил. По улице пока дойдет до совета — человек десять расспросит. Всем болел, до всего доходил.

Остапенко прошел единогласно. Но райком метил другого — Ярина, райкому понадобилось провести Ярина во что бы то ни стало. Борьба завязалась неравная. Остапенко написал письмо в ЦК ВКП(б). Секретарь ЦК ВКП(б) тов. Молотов в статье, помещенной в «Правде», обратил внимание округа на вальяновские дела. В борьбу втянулся окружком партии. Остапенко с треском вылетел из станицы, председательское место занял Ярин. Тот самый, который на всех собраниях заявлял хлебоборам:

— Ни чорта вы не понимаете, вы, деревянные головы!

Ярин, который не терпел возражений и зажал всю общественность.

Вот результаты деятельности правления под руководством Ярина:

Электростанция и мельница дали за последний год убыток в сумме 9.586 рублей.

Имея прекрасное помещение, они решили строить новое, вбухали в это дело 37.696 рублей, а старое помещение, стоившее около десяти тысяч, было продано за 1.700 рублей.

Во втором и третьем кварталах 1923 года ЕПО понесло убыток 13.296 рублей.

Кожевенный завод, восемь чанов с растворами — буквально сгнили.

Мельница после реконструкции — совсем остановилась.

Во время обследования работы ЕПО разоблачили Кучерова. Оказалось, что он давал свои деньги — сотни три, что ли, рублей — в оборот частному торговцу!..

Нужно ли говорить, что все это было использовано кулаком. И по сейчас возле ЕПО целыми днями ведут кулаки разговоры. Как-то рвали за Кубанью динамитом деревья, — по станице сейчас же пошел слух:

— Наши идут. На черном берегу высаживаются. В Краснодаре Госбанк эвакуируется.

И бедноте, с которой работа ведется из рук вон плохо, кулак говорит:

— Вот приспичит с их перевыборами — тогда вас и созовут.

В Вальяновской еще не проведено землеустройство, — кулаки сейчас говорят:

— Зачем нам землеустройство? В станице Старокорсунской землеустроились, а земля и осталась незапаханной...

Доканали меня слабость, никчемность работы избы-читальни и бездействие ККОВ'а.

Имба-читальня не привлекает хлеборобов, избач не инициативен и не обладает живостью — он добросовестно ходит, сидит. И все.

• Предккова Ильенко женился на мещанке. Он часто ездит в город — продавать киевское масло. Посуду оттуда он не везет, потому что подвода занята его и жениным барахлом.

— Можете вы созвать группу бедноты? — спросил Петров у зампредккова.

— Созвать можно. Только ты повестки подписывай, а то, если Ильенко подпишет, — не пойдут.

Совсем сраженный, я недоумевал:

— Но где же хорошее-то, где?..

ХОРОШЕЕ ЕСТЬ, НО СКОЛЬКО ЖЕ НАДО ЕЩЕ
СДЕЛАТЬ:

И опять — как тогда, весной, бегу я к Петрову.

— Ну, рассказывай — как у тебя!

— Как тебе сказать! Хорошо, что ты приехал, — улыбается Петров, и от широкой улыбки морщится мясистый его нос. Все такой же он хлопотун и непоседа.

— А я иду это сегодня утром, позанимался часов до семи...

— Как позанимался?

— Я ведь учусь. Прохожу заочные курсы инструкторов при Союзе союзов. Каждый день занимаюсь, с пяти утра, с петухами. Дак вот иду я, а мне говорят — приехал, мол...

Петров смеется, похлопывая меня по руке.

— Делов у нас — страсть. Слышал? Кое с чем сладили, за остальное беремся. Главное дело — не горюй!

— А у тебя как дела?

— В товариществе-то?

Петров подмигивает:

— У нас сведеньица готовые. Я слышал — ты приехал, значит сведения надо. Ну, что тебе? Пайшиков прибавилось — сейчас их 984, паевых взносов стало 7 с половиной тысяч. Средний пай у нас теперь 7 руб. 76 коп., а ведь было шесть с полтиной весной-то!

— А как с группой бедноты?

— Так и знал, — махнул рукой Петров: — со-
вратить не могу, не ахти как. Оправдываться нечего —
слабо, слабо. Сейчас нажали. Дело пойдет. Однако,
ты не думай. Группа бедноты во всей посевкампании
работала хорошо. И по заготовкам у нас сейчас хо-
рошо: задание выполнили полностью.

Я спросил, чем объяснить, что так хорошо пошли
хлебозаготовки.

— Тут дело ясное. Хлеборобы сами говорят —
цена стала подходящая. У нас ведь больше семечка
шла, а цена в самом деле хорошая. Ну, тут налог
надо было платить. По контрактации нам много при-
везли, сто тысяч килограммов, из семисот тысяч —
седьмая часть. Разъясняли мы сильно.

Петров давал точный ответ на любой вопрос. Сам
живо интересовался тем, что говорит, а мне — после

всех разочарований — как-то не верилось и ему.

— Как же ты смотришь на все это? Почему ты раньше скандала не поднял? — с укором спросил я.

Полицу его пробежала тень.

— Легко тебе сказать. А сколько трудов было выгнать Ядровского? Вот сейчас за Темнова взялся с ребятами, а он на меня целый поход открыл. Так и жарит актами по каждому пустяку. Вроде Ядровского — волокитчик. Тот всегда говорил: «Нужно все бумажками обосновывать». Это, брат, не от меня зависит — я-то делаю, не щадя себя. Пока ребят раскачаешь, да пока райком спохватится. Э-ех! — Петров тяжело взмахнул рукой и опять потемнел лицом.

— Трудно народ вокруг себя поднимать. Вот у меня была история. Член правления мой, Мищенко, казак, приходит и говорит: «Ну, Петров, я подам заявление, чтобы уйти». — «Вот так дело, — говорю, — как уйти?» Он говорит: «Не справляюсь. Вспоминаю, — говорит, — наши казаки говорят, говорят, а сами ничего не делают. Я и сам на всех вас говорил — даром они деньги получают. А сейчас не рад и жалованию». Так я с ним целый день говорил. Уговорил все-таки. «Ну, — говорит, — не буду заявления писать, а то скажут — трус». Да ведь это актив. А с хлебоборобом — куда труднее!

— Ну, а все же подбирается народ?

— Подбирается, да туго. Сил у нас мало, а ведь тут работу надо вести да вести. Со своей еле справляется.

— Как колхозы?

— Недавно мы в «Братской жизни» — помнишь артель-то? — провели свое колхозное совещание. У нас сейчас четыре колхоза. Я боялся было — рассыпятся. А теперь крепче стали. Из «Коллективиста» вышли 22 семьи, пять только осталось. Которые вышли — и пошли-то в колхоз из-за своей выгоды — думали там на дурнигу проехать. Сейчас Кучеры группу собирают — тоже в колхоз. Знаешь, я тебе скажу — людей толковых мало. Вот как в «Братской жизни» ребята. Хорошо ты Мироненку помнишь?

— Как же! Как он?

— У него там неприятность вышла. Приняли нового, а он стал бузить, ну, поднял там кое-кого. Мироненко хотел было уйти из артели, но они за него зацепились, да и он опомнился. Он и остался с условием, что тот не будет бузить. Председателем у них сейчас тракторист Талан. Ну, только они во всем Мироненко слушаются, хоть он и кузнец да слесарь, а не председатель...

И опять я поражался. Какие перемены! «В Братской жизни» председателем уже не Мироненко — создатель, организатор, бессменный вожак этого маленького островка социализма, затерявшегося в степи!

Словно угадывая мои раздумья, Петров сказал:

— Ты не думай! Народ мы соберем. В станице нашенского народа до чорта, только мы вот его не со-

брали, не занимались этим делом! Ты знаешь, в ячейке народу прибавилось: трех человек мы в партию приняли — бедняков и батраков.

В совете я разговаривал с Даниилом Исаковичем Матвиенкой, тем самым, который был бессменным членом закупочной комиссии весной и никогда не жаловался на тяжесть работы.

Склонив скуластое морщинистое лицо, закрывая тонкие сухие губы рукой в веснушках, Даниил Исакович говорил:

— Мало у нас внимания для разъяснения. Середняк своего, в чем он заинтересован, не понимает. Разъяснительная кампания очень нужна. Возьмите меня в пример. Был я в войску урядником, до революции еще. Я большевиком был давно, только идея была не открыта. Вот и выбрали меня молодые фронтовики делегатом на последний съезд кубанской рады, — посмотреть что делается там в раде. А как раз рада Шкуре и Деникину противилась. Как увидел я их всех, тут и начал понимать, что все идет вразрез, от этого и стал понимать, что я большевик. Мне сама действительность показала. А сейчас — душа с них вон. Это же враги. Дай им власть — они шкуру будут драть!

— Что же ты сам-то мало разъясняешь?

— Я разъясняю, меня слушают. Надо обширнее разъяснять.

Ехали мы из Вальяновской в дождь, забрызганные с ног до головы ошмотьями грязи.

Возница — кковский кучер Гриценко Прокофий Савельевич поворачивал забитое грязью лицо, на котором спокойно синели глаза, и поддавал кнутом лошадям.

— Мимо кугутов, бандитов! — сказал он с усмешкой, когда линейка с треском пошла по третьему участку. — Я их тут разгребал!

Долго рассказывал Прокофий Савельевич, пятидесятилетний партизан, краснознаменец, — и о том, как в восемнадцатом пошел он с таманской армией, голодал и холодал в астраханских песках, с Буденным брал Ростов, Краснодар, — в Краснодаре потерял своего коня и плакал навзрыд — на потеху озорным ребятам.

Когда я его упрекнул в том, что сейчас вот он плохо работает, старик сконфузился:

— Плохо с нами занимаются! Мало внимания обращают.

— А ты сам действуй, — напал на него спутник мой, Кувика Григорий.

— Вот открыли мы Дом батрака, всем ведь говорили — что не ходишь?

— Приду как-нибудь.

А дождь моросил, и по обеим сторонам расстились мягкие кустистые зелены.

В райкоме у Бокова я закопался в отчетные материалы района:

После Вальяновской страшно хотелось посмотреть и ощутить иное, прощупать тенденцию развития других станиц и всего района.

Только что закончился пленум райкома.

Пленум заслушал отчетные доклады райкома и комфракции райисполкома. Не надо было долго ломать голову, чтобы разглядеть, что район в общем идет вверх.

Доход от сельского хозяйства в этом году больше прошлогоднего на один миллион четыреста тысяч рублей, т. е. на 4%.

Процесс дифференциации сельского хозяйства шел так: передвижка в высшую группу от беспосевных и с малым посевом, и передвижка из группы кулацкой — в середняцкую.

Сейчас по району — 101 колхоз (против 35 бывших год тому назад) с 1.464 хозяйствами, из коих 68,6% бедняцких. Стоимость колхозного имущества — 397.521 руб., в том числе общественного — на 108.111 руб.

За этот год кооперировано сельскохозяйственной кооперацией 19,5% против 11,4% в прошлом году, а потребительской кооперацией — 79,1% против — 60,5% в прошлом году.

люди, люди. АППАРАТ—ЭТО ЛЮДИ

А секретарь райкома Иван Васильевич Боков, осунувшийся и пожелтевший после пленума и вдруг повеселевший, потому что выкроил сегодня два часа

Вечером, для того чтобы одолеть уразнение с двумя неизвестными и очередную пачку геометрических теорем, говорил:

— Вот, чувствую, все труднее и труднее повернуть наших работников, наш аппарат. Задач все больше, они сложнее, а люди не поспевают. Я запросил секретарей, чтобы они письменно осветили расстановку социальных сил к перевыборам. Что получилось? А то, что наши секретари почти все с правым уклоном. Одни считают, что кулак раскулачен; другие — что он безопасен. На пленуме все они признали ошибки, когда им растолковали. А ведь это секретари.

В районе приходится все делать самому. На год меня хватит, а там выйду в тираж... Новых людей надо бросить в станицу, новых, свежих, подготовленных людей. В этом году наша организация выросла за счет вновь вступивших на 22,3%, но их надо обучить.

А ведь нам надо сейчас выправлять промахи, устранять слабые места. По единому сельхозналогу у нас получилось так, что бедняцкая и маломощно-средняя прослойка при росте доходности против прошлого года на 15,8% — налога платит на 18,9% больше прошлогоднего; середняцкая прослойка платит налога больше на 11,5% при росте доходности лишь на 0,9%, а зажиточная и кулацкая платит меньше на 8%, а доходность понизилась на 4%.

Винсоват аппарат, но аппарат — это люди. Тов. Боков ставит вопрос о немедленной посылке работников из города в деревню.

Правильно, тов. Боков!